



Эфраим Зихер

«Еврей на коне»

Культурно-исторический
контекст творчества

И. Э. Бабеля

Современная иудаика / история

Современная иудаика / Contemporary Judaica

Эфраим Зихер

**Еврей на коне. Культурно-
исторический контекст
творчества И. Э. Бабеля**

«Библиороссика»

УДК 82.02
ББК 83.3 (2Рос=Евр) 6

Зихер Э.

Еврей на коне. Культурно-исторический контекст творчества И. Э. Бабеля / Э. Зихер — «Библиороссика», — (Современная иудаика / Contemporary Judaica)

ISBN 978-5-907767-75-1

Исаак Бабель — один из величайших авторов коротких рассказов начала двадцатого века. Тем не менее, его жизнь и творчество окутаны тайной. В книге рассматривается культурная идентичность Бабеля как пример противоречий и напряженности между литературными влияниями, личной лояльностью к власти и идеологическими ограничениями. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 82.02
ББК 83.3 (2Рос=Евр) 6

ISBN 978-5-907767-75-1

© Зихер Э.
© Библиороссика

Содержание

Примечание о ссылках	5
Благодарности	6
Предисловие к русскоязычному изданию	7
Введение	8
Два Бабеля	8
Загадка Бабеля	14
Двойная запись	18
Глава 1	21
Начало	21
Еврей на коне	32
Поразительный взлет и страшное падение Бабеля	37
Возвращение к еврейскому детству в Одессе	41
Голод или удушье?	46
Цена молчания	55
Молчание – также сопротивление	60
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Эфраим Зихер
«Еврей на коне»
Культурно-исторический
контекст творчества И. Э. Бабеля

Примечание о ссылках

Я ссылаюсь на следующие издания текстов Бабеля: Детство и другие рассказы / сост. Эфраим Зихер. Иерусалим: Библиотека Алия, 1979 (Детство); Собрание сочинений: в 4-х т. / сост. И. Н. Сухих. М.: Время, 2006 (Собрание сочинений).

Благодарности

Я благодарен множеству друзей и коллег, которые на протяжении многих лет (возможно, даже слишком многих) вдохновляли меня на написание этой книги, давали комментарии или участвовали в беседе о культурной самобытности Бабеля. В частности, я хотел бы поблагодарить, извинившись за неизбежно неполный список: покойного Мордехая Альтшулера, Кэрол Эвинс, Йоста ван Баака, Хамутал Бар-Йосеф, Галину Белую, Патрисию Блейк, покойного Дональда Фангера, Григория Фрейдина, покойного Ионатана Франкеля, Амелию Глейзер, покойного Мориса Фридберга, Алену Яворскую, Рину Лапидус, Мирью Леке, Залман-Симха (Стива) Левина, Элису Нахимовскую, Светлану Наткович, Елену Погорельскую, Дэвида Г. Роскиса, Батю Вальдман и Рут Вайс. Я также обязан поддержке Центра им. Леонарда Невзлина по изучению российского и восточноевропейского еврейства при Еврейском университете в Иерусалиме. Публикация англоязычного издания этой книги стала возможной благодаря гранту № 1839/11 Государственного израильского научного фонда (ISF). Русское издание финансировалось за счет исследовательского гранта Университета им. Д. Бен-Гуриона в Негеве. Спасибо Екатерине Яндугановой, Ивану Белецкому и всем сотрудникам в издательстве ASP. Наконец, есть долги, которые невозможно оплатить в этом мире: перед Тоби Гольцманом, покровителем и благотворителем бабелистики, и перед А. Н. Пирожковой, без которой у меня не было бы доступа к рукописям Бабеля. Эта книга – дань уважения их тихим, но решительным усилиям по сохранению памяти о Бабеля, а также посвящается памяти двух людей, которые по-своему были страстно ему преданны.

Ранние варианты частей этой книги впервые появились в статьях в журналах: «Slavonic and East European Review», «Studies in Contemporary Jewry», «Revue des études slaves», «New Zealand Slavonic Journal», «Shvut», «Aschkanas», «Canadian Slavonic Papers», «Параллели» (Москва) и «Dapim lemekhkar besifrut» (Университет Хайфы). Третья глава была опубликована как «Шабос-нахаму в Петрограде: Бабель и Шолом-Алейхем» в книге: Исаак Бабель в историческом и литературном контексте / отв. ред. Е. И. Погорельская. М.: Книжники, 2016. С. 452–473; авторизованный перевод с английского Анны Урюпиной. Текст печатается с разрешения издателя.

Предисловие к русскоязычному изданию

Эта книга предлагается российскому читателю к 130-летию со дня рождения Исаака Бабеля в 2024 году как скромный знак уважения к мастеру советской русской прозы и ведущему еврейскому писателю XX века. Долгие годы открыто писать о еврейском и идишском контексте творчества Бабеля было невозможно, а с конца 1930-х годов говорить о Бабеле было трудно по политическим причинам. Даже после отмены цензуры критики не всегда были готовы признать культурное происхождение Бабеля. Когда стали доступны архивные источники, ряд новых исследований рассказов Бабеля показали сложность его эстетики и идентичности. Посвященная Бабелю конференция, организованная Е. И. Погорельской и состоявшаяся в ИМЛИ (Москва) в июне 2014 года, собрала ученых со всего мира и продемонстрировала международный интерес к Бабелю. За десять лет, прошедших с момента первой публикации этой книги, в России, Израиле, Германии и Соединенных Штатах было проведено много важных исследований наследия Бабеля, о которых я не смог адекватно рассказать в этом исправленном издании. Я надеюсь, что эта книга познакомит новое поколение читателей и ученых с гением человека, который заплатил жизнью за отказ пойти на компромисс со своей художественной целостностью и своей преданностью истине.

Введение Кем был Бабель?

*Не надо даром зубрить сабель,
меня интересует Бабель,
наш знаменитый одессит.
Он долго ль фэбулу вынашивал,
писал ли он сначала начерно
иль, может, сразу шпарил набело,
в чем, черт возьми, загадка Бабеля?..*

С. Кирсанов¹

Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским.

И. Э. Бабель. Закат

Два Бабеля

Москва, 1994 год. Боги коммунизма пали. Увечный ребенок с иконой и нищенской миской в руках, под символом новой идеологической системы, империи Макдональдса, казалось, подводил итог радикальным переменам, которые начались с распадом Советского Союза. Как израильский ученый, опубликовавший два тома рассказов Бабеля на русском языке, я был приглашен на конференцию, посвященную столетию Бабеля, в Российском государственном гуманитарном университете в Москве². Мероприятие проходило «под прикрытием» конференции, посвященной Зоценко. Тогда казалось, что еще не пришло время полностью раскрыть значимость Бабеля как крупного автора советского периода. Почему это было так? Почему Бабель по-прежнему не вышел из серой зоны осторожных и неполных публикаций перестроечного периода? Если российская литературная история теперь готова принять всех писателей, включая диссидентов и эмигрантов, то какое место следует отвести на страницах истории русской культуры имени Бабеля?

Выяснилось, что существовало по крайней мере два Бабеля – еврейский и русский писатель. Прошло более 70 лет со времен симбиоза русско-еврейской (через дефис) идентичности. Лишь немного сохранилось в памяти о становлении и расцвете письменности российских евреев, а еще меньше – о великом возрождении литературы на иврите в крупных городах черты оседлости, а особенно в Одессе, родном городе Бабеля. Будучи советским автором, Бабель пользовался славой как прозаик-экспериментатор, ставший «мастером молчания», прежде чем его поглотил сталинизм³. Однако после падения коммунизма он был заклеен как «маркиз де Сад» большевистской революции [Яркевич 1994]. В пробужденном русском национальном сознании Бабель оказался в лучшем случае маргинальным писателем, а в худшем – чужим и враждебным. Конечно, в послереволюционном контексте советский и русский Бабель не исключает Бабеля иконоборческого, очень индивидуального, не преданного ни партии, ни

¹ Цит. по: [Головановский 1989: 213].

² Речь идет о конференции «Феномен творчества И. Э. Бабеля: проблемы современного восприятия, интерпретации и научного издания», которая прошла с 6 по 9 июля 1994 года. – *Прим. пер.*

³ См. [Белая 1989а: 149–169]. См. также пересмотренный текст: [Белая 2002]. См. также [Гандлевский 2009].

идеологии, и может одинаково вписываться как в русскую прозу 1920-х годов, так и в западно-европейский модернизм и сходные течения на идише и иврите. К XXI веку Бабель стал значимой частью культурной идентичности русскоговорящей еврейской читающей публики в России и Израиле; более того, он способствовал возвращению к еврейским традициям, точнее, к светской еврейской идентичности. В 2004 году в Одессе прошел фестиваль еврейской культуры, обращенный в том числе к Бабелю и к прошлому города, а в 2011 году на фестивале в честь самого Бабеля был открыт памятник писателю (при участии знаменитостей, в том числе сатирика Михаила Жванецкого)⁴. В Москве Бабель вошел в пантеон еврейских культурных героев в Еврейском музее и Центре толерантности – образовательном и культурном центре московской еврейской общины, открывшемся в 2012 году.

Бабель был невысоким, коренастым человеком в очках и с блестящими любопытными глазами, навязчиво неуловимым уже до сталинских лет, когда неосторожное слово могло уличить и выдать; одержимо скрытым задолго до того, как кричащий конформизм стал правилом; озорным от природы, склонным к розыгрышам самых близких друзей⁵; уклончивым в отношениях с редакторами в условиях, когда режим требовал постоянного выпуска идеологически правильных материалов. Его неуловимость и длительные исчезновения не были следствием отчаянной необходимости скрыться от кредиторов и кого-либо еще, чтобы спокойно писать, или тактического молчания 30-х годов.

В раннем возрасте у него появилась склонность исчезать на длительное время, а потом писать своим друзьям, прося их выполнить для него различные поручения. У него были дети от трех женщин, но, по сути, он оставался еврейским семьянином, заботился о своей семье за границей и был катастрофически щедр со своими одесскими родственниками. Он жаждал свободы, но не мог свободно дышать за пределами России, при всей ее нищете и репрессиях, несмотря на удушающую атмосферу московского литературного мира. Бабель вернулся из заграничных поездок в сталинскую Россию, потому что именно здесь был материал для его художественного творчества: исторические перевороты Революции и Гражданской войны, превращение отсталой сельскохозяйственной страны в современное индустриальное государство. Эти перемены завораживали своими чудовищными противоречиями, и он считал своим моральным долгом запечатлеть страшную человеческую цену, уплаченную за строительство социализма.

Знаменитый американский писатель Сол Беллоу спросил: кем же был Бабель? Бабель хорошо знал идиш, *мамэ-лоин*, однако писал на русском языке. Беллоу утверждал, что все мы родились случайно, в том месте и то время, которые мы не выбирали [Bellow 1963: 15–16]. Я согласен с тем, что мы рождаемся в определенном времени и месте, в языке и культуре, не по своему выбору, однако каждый из нас делает из них что-то свое, уникальное. Бабель родился в то время и в том месте, которые стали перекрестком истории, и сам погиб как жертва обстоятельств, которые он видел слишком ясно, возможно, раньше многих других. Культурная идентичность может формироваться индивидуальной личностью, но она вырастает из литературного, этнического и языкового контекста. Как отмечают Дэвид Тео Голдберг и Майкл Крауш во введении к исследованию метафизических и философских смыслов еврейской идентичности, идентичность в такой же степени является культурным и социальным образованием, как и следствием личных обстоятельств, и всегда находится в процессе становления [Goldberg, Krausz 1993: 1]. Однако для того чтобы точно понимать индивидуальность писателя внутри интерактивных пересечений между его личностью и культурной средой, мы должны изучить три параметра: текст, контекст и интертекст.

⁴ Речь идет о Первом литературном фестивале в честь Бабеля, открывшемся 9 июля, в его день рождения, и завершившемся открытием памятника писателю 13 июля. – *Прим. пер.*

⁵ См. [Пирожкова 2006: 466–467; Эренбург 1990, 1: 469].

Литературный дебют Бабеля совпал с периодом возрождения еврейского национального самосознания и культуры после кишиневских погромов. Как показал Кеннет Мосс [Moss 2009]⁶, освобождение евреев в феврале 1917 года от царских ограничений дало толчок множеству разнообразных и противоречивых направлений развития еврейской культуры, будь то на иврите, идише или русском языке, от бундизма⁷ до сионизма.

Эти различные направления представляли собой концепции будущей еврейской идентичности, формирующейся на основе культуры, а не религии. Тем не менее многие евреи, захваченные яростью и восторгом радикальных перемен в Советской России, рассматривали политику как средство достижения культурных и идеологических замыслов и попали в водоворот событий, поскольку большевики подавили существовавшие еврейские общинные организации и постепенно взяли под контроль культурное производство. Приход к власти коммунистов позволил многим евреям занять места в новых советских учреждениях (включая партийное управление и ЧК) и среди «белых воротничков» (включая издательское дело и литературу); трагедия заключалась в том, что насаждение коммунизма означало экономическую катастрофу для и без того разоренных войной еврейских местечек – *штетлов*.

Бабель вырос среди замечательной смеси идиша, иврита, русского и украинского языков, в крупном еврейском культурном центре – Одессе, которая с первой половины XIX века привлекала иностранцев, в том числе французского губернатора и евреев-негоциантов из Галиции⁸. Космополитичные пространства города – Опера, «Литературка», Ришельевская гимназия, многонациональный порт – открыли евреям русскоязычную культуру⁹. На самом деле, как показал историк Джон Клиер, одесские «портовые евреи» извлекали выгоду из своеобразного положения города и развивали новые формы современной еврейской общины [Klier 2001: 173–178]¹⁰.

И до Февральской революции произведения евреев выходили в петербургской печати: из Одессы в столицу приехали Семен Юшкевич¹¹ и сам Бабель, а после потрясений большевистского переворота и Гражданской войны влиться в русскую литературу стало легче, поскольку этнические различия имели теперь гораздо меньшее значение, чем классовое происхождение. Бабелю до краха царизма удалось опубликовать манифест, где он призывал литературного мессию из Одессы, русского Мопассана. В статье «Одесса» (1916) он пророчествовал, что этот космополитический порт на Черном море сможет принести солнце в русскую литературу. Из Одессы сможет прийти столь необходимый России литературный мессия, утверждал он, который освободит ее от ледяной хватки Петербурга, чтобы вдохнуть жизнь в удушающую прозу, полную скучных рассказов о напыщенных провинциальных городах севера: «Чувствуют – надо освежить кровь. Становится душно. Литературный Мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда – из солнечных степей, обтекаемых морем» (Собрание сочинений, 1: 48). Бабель формирует свою поэтическую идентичность по образцу Мопассана, своего вдохновителя и признанного литературного мастера, но пишет как еврей из города Одессы:

Половину населения его составляют евреи, а евреи – это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят

⁶ См. также статью Давида Шнеера о литературной политике и культуре светского идиша [Shneer 2004].

⁷ Светский еврейский социализм, по названию группы – *Бунд* ('союз' – идиш; полное название – *Алгемайнер идишер арбетербунд ин Литве, Пойли ун Русланд* – Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, Польше и России). – *Прим. пер.*

⁸ См. ранние описания космополитизма Одессы в [Де-Рибас 1894] и [Кирпичников 1896: 383–420].

⁹ См. [Lecke, Sicher 2023].

¹⁰ См. подробнее в третьей главе.

¹¹ С. С. Юшкевич (1868–1927) – прозаик и драматург, автор рассказов «Портной. Из еврейского быта» (1897) и «Распад» (1902) о жизни еврейской бедноты; использовал характерную для Одессы специфику языка. – *Прим. пер.*

деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты, чадолюбивы потому, что это же очень хорошо и нужно – любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень путают губернаторы и циркуляры, но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями – создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу (Собрание сочинений, 1: 43)¹².

Именно в Одессе сосуществование различных культур – несмотря на этническую напряженность, например, между греками и евреями – сделало возможным естественное развитие на этой периферии Российской империи «малого модернизма». К концу XIX века треть населения города составляли евреи; их доля увеличилась с притоком беженцев во время Первой мировой войны, и, несмотря на эмиграцию и потрясения, вызванные революцией и Гражданской войной, это стимулировало дальнейшую миграцию из *итетлов* и других районов, в результате чего в 1923 году их численность достигла 41,1 % от общей численности населения [Altshuler 1998: 14, 36, 40, 225]. Нельзя забывать и о культурных контактах между евреями, русскими и украинцами периода расцвета модернизма в начале XX века, ставших основополагающими для формирования современной еврейской культурной идентичности и, впоследствии, израильской литературы. Одесса была одним из относительно свободных городов Российской империи, открытым для западного влияния в архитектуре, политике, искусстве и культурной жизни в целом, не говоря уже о более «левантийском» или средиземноморском образе жизни. Влияние Запада и, в частности, Мопассана, как мы увидим в одной из последующих глав, сформировало эстетику Бабеля – наряду с его собственной одесской *joie de vivre*¹³ (Собрание сочинений, 1: 43–59).

Культурная память Одессы вызывает ностальгию по воображаемой карнавальной свободе и еврейской бедности, а также по буржуазному достатку. Перед годами коммунизма и нацистским геноцидом это был уникальный центр еврейской культуры. Приоткрыть этот исчезнувший мир – значит читать через призму бывших *маскилим*¹⁴ и эмигрантов, очерков и романов Жаботинского¹⁵, а также через рассказы самого Бабеля [Zipperstein 1999: 63–86]. Миф о «старой Одессе» обрел дальнейшую мифологизацию в народных песнях, антологиях и фильмах, с характерным юмором прославляющих мифический фольклор «еврейской» преступности. Одесский язык превратился впоследствии в закодированный эвфемизм для обозначения еврейской национальности. Фактически одессит стал комическим персонажем, хитрым аферистом периода НЭПа, таким как Остап Бендер (хотя он никогда не идентифицируется как еврей или одессит), умеющим договариваться и находить способ справиться с советской системой¹⁶. Одесский миф сместился с классического *топоса* русской культурной идентичности и превратился в образ «еврейского» города порока и греха.

Этот вымысел легко перерос в легенды, прославляющие романтику бандитизма в 20-х годах, когда финансовые спекуляции были объявлены большевистским режимом вне закона, и большевики боролись с контрабандой. Буржуазный образ жизни угас, писатели уехали или эмигрировали, кафе превратились в рабочие клубы. В 1926 году город был официально украинизирован (кампания «коренизации»), синагоги закрылись, и последние еврейские сионист-

¹² См. [Klier 2001: 173–178]. См. также третью главу этой книги.

¹³ Радостью жизни (франц.). – *Прим. пер.*

¹⁴ Приверженцы движения «Гаскала», «еврейского Просвещения»: «Гаскала» – еврейское просветительское и общественное течение, возникшее во второй половине XVIII века. – *Прим. пер.*

¹⁵ В. Е. Жаботинский (1880–1940) – одесский фельетонист, писавший под псевдонимом Альталена, во время погромов – участник еврейской самообороны, в 1930-х годах – вождь ревизионистского движения; писал на русском и на иврите. – *Прим. пер.*

¹⁶ Американский историк Джаррод Тинни считает, что зашифрованное еврейство Остапа Бендера связано с «преступной» Одессой [Tanny 2011: 104–107].

ские учреждения оказались под запретом. Дальнейшее уничтожение сохранившейся памяти о дореволюционной жизни одесских евреев пришлось на период холокоста, когда Одесса была оккупирована румынами-фашистами, а евреи города были убиты. Исчезновение «еврейской» Одессы породило ностальгию в виде запоздалого постсоветского импульса пожилых одесситов, а также эмигрантов в Ашдоде и на Брайтон-Бич прославлять мифологизированное прошлое, что было зафиксировано в фильме израильского режиссера Михаль Боганим «Одесса, Одесса» (2005). Культурная память Одессы обрела собственную жизнь¹⁷: одессизмы и одесские предания наложили свой отпечаток на популярную российскую песню и юмор [Rothstein 2001; Nakhimovsky 2003]. Более того, одесский миф живет в постсоветской художественной литературе, например в романе Ирины Ратушинской «Одесситы» (1998) и в романе Рады Полищук «Одесские рассказы, или Путаная азбука памяти» (2005), а также в эмигрантской и русско-американской литературе [Wanner 2019: 121–144].

Одесские предания, литература и язык демонстрируют еще одно измерение межкультурной идентичности в русской прозе Бабеля, ибо эта точка соприкосновения еврейской и русской культур, смешанных с сильным французским, итальянским и другими иностранными влияниями, породила так называемую юго-западную школу русской литературы. К ней относятся и Бабель, и Э. Г. Багрицкий, Ю. К. Олеша, В. М. Инбер, К. Г. Паустовский, Л. И. Славин, В. П. Катаев, а также Ильф и Петров. С начала 1920-х годов эти молодые таланты привносили теплое одесское солнце в московские литературные круги. Собственно, большинство из них приобрели славу именно в 20-е в Москве, где они стали частью литературной волны региональных и экзотических голосов, романтики преступного и подпольного миров. При Сталине такие претензии на независимость литературных групп стали подозрительными и рискованными. Критик-формалист В. Б. Шкловский вскоре был вынужден отречься от своей программной статьи о «юго-западной школе» писателей, которая не соответствовала централизованной схеме партийного контроля над литературой, объявленной на Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году – схеме, становившейся все более нетерпимой к индивидуализму и сепаратизму, не говоря уже о «попутчиках», каковыми были большинство одесситов [Шкловский 1933].

Все-таки Ю. К. Щеглов утверждает «установленным фактом», что «юго-западная школа» привнесла в русскую реалистическую традицию западноевропейский прозаический стиль и открыла границы русской литературы через интертекстуальность [Shcheglov 1994: 653]. Пожалуй, только одесский еврей мог соединить Пушкина и Шолом-Алейхема или осмелиться выдвинуть «одесского Мопассана» на роль русского литературного мессии. Ребекка Стэнтон выражается точнее, называя это, скорее, случаем возвращения, а затем и присвоения русской литературной традиции, связанной с Пушкиным, который навсегда остался связан с Одессой после написания там «Евгения Онегина» [Stanton 2003]:

117]. Одесский текст противопоставляется петербургскому, как пишет сам Бабель в «Одессе», и одесские прозаики и поэты давно создали в русской литературе свою независимую традицию: помимо «Морица Сефарди» и «Калейдоскопа» Осипа Рабиновича, издались в Одессе во второй половине XIX века русско-еврейская печать, фельетоны, романы¹⁸. Семен Юшкевич и Л. О. Коренман (Кармен)¹⁹ писали о местной одесской жизни задолго до того, как Бабель сделал Беню Крика королем бандитов [Бар-Селла 2018: 8–30]; этой темы касался

¹⁷ Мориц Фридберг предпринял попытку реконструировать социальную жизнь Одессы на основе интервью с советскими эмигрантами в [Friedberg 1991].

¹⁸ О. А. Рабинович (1817–1869) – писатель, издатель, общественный деятель, считается основоположником одесской литературной традиции и русско-еврейской литературы. – *Прим. пер.* Об одесском тексте см. [Верникова 2020]. См. также [Каракина 2006; Кудрин 2012].

¹⁹ Л. О. Коренман, также Л. О. Корнман, псевдоним – Л. О. Кармен (1876–1920) – прозаик и поэт, автор реалистических рассказов об одесской бедноте. – *Прим. пер.*

Юшкевич в романе «Леон Дрей» (1913-1917). Более того, в его же пьесе «Король» (1908) описывается восстание сыновей мещанина-магната, подобное восстанию сыновей Менделя в пьесе Бабеля «Закат» (1928). Одесский преступный мир исследовался также Куприным в «Гамбринусе» (1906) и «Обиде» (1906), где рассказывается об одесских бандитах, которые отрешиваются от погромщиков. И все же Одессу чаще всего «вспоминают» благодаря одесским рассказам Бабеля.

Загадка Бабеля

Русская проза Бабеля считалась новаторством. Критик и редактор советского журнала «Красная новь» А. К. Воронский в 1925 году (когда Бабель еще не опубликовал ни одной книги) заявил, что для прозы Бабеля характерны «твердость, зрелость, уверенность, нечто отстоявшее, есть выработка, которая дается не только талантом, но и упорной, усидчивой работой», что эта проза превосходит многие произведения советской беллетристики и отражает поворот от новаторства к реалистическому классицизму [Воронский 1925: 101]. Он, писал Воронский, в некотором смысле эпичен, ему близок революционный дух, но есть что-то почти языческое, нехристианское в его увлечении плотью. Бабель стоит в одном ряду с Платоновым, Олешей (также одесситом), Булгаковым, Пильняком и «Серрапионовыми братьями» из окружения Замятина – ведущими русскими модернистами. Замятин в статье «О литературе, революции и энтропии и прочем» называл писателя еретиком, который смотрел на мир под углом 45 градусов, с палубы корабля во время шторма:

Матрос на мачте – нужен в бурю. Сейчас – буря, с разных сторон – слышны SOS. Еще вчера писатель мог спокойно разгуливать по палубе, шелкая кодаком (быт); но кому придет в голову разглядывать на пленочках пейзажи и жанры, когда мир накренился на 45°, разинуты зеленые пасти, борт трещит? [Замятин 1955: 252].

Замятин отметил, что блестящее владение Бабеля сказом в «Иисусовом грехе» не позволило ему забыть, что у него есть мозг, как это часто случается в орнаменталистской прозе:

Бабель <...> помнит, что кроме глаз, языка и прочего – у него есть еще и мозг, многими писателями сейчас принимаемый за орган рудиментарный, вроде appendix'a: коротенькая новелла приподнята над бытом и освещена серьезной мыслью [Замятин 1955: 225].

Шкловскому принадлежит такая известная формула, касающаяся его стиля: «Смысл приема Бабеля состоит в том, что он одним голосом говорит и о звездах, и о триппере» [Шкловский 1924: 154]. Но возможно, именно этот новаторский стиль отличает Бабеля как аутсайдера, рассматривающего Россию с фокусом на гротеске, абсурде и трагизме того, что по сути своей свойственно человеку.

Частично загадка культурной идентичности кроется в интертекстуальности, характерной для модернизма, который обновил традиционные формы искусства и литературы, такие как фольклорные мотивы и мифы, одновременно сталкиваясь с современностью, темпом городской жизни и насилием войны. Это определение справедливо как для русского модернизма, так и для еврейского возрождения 1912–1925 годов. Интертекстуальность лежала в основе еврейской письменности на протяжении веков, а использование языковой игры помогало евреям избегать столкновений с цензорами, инквизиторами и враждебными режимами в Испании и в России. Более того, тот факт, что Бабель и другие русские евреи часто бывали многоязычны, позволил им создавать варианты подтекстовых смыслов для еврейских читателей, как будет показано в следующих главах. В начале XX века идиш, иврит и русский не были отдельными сферами культурной деятельности. Иными словами, российские евреи не только писали на нескольких языках; получив возможность свободно перемещаться внутри российского общества, они смогли обращаться к разным аудиториям, иногда одновременно. Заявление Давида Шнеера, что Бабель не сочинял на идише, а потому не может претендовать на роль культурного переводчика [Shneer 2004: 231, n1], подразумевающее, что Бабеля следует исключить из истории советской еврейской культуры, не учитывает переводы Бабеля с идиша, его погружение в идишскую классику. Аналогичным образом, утверждение Кеннета Мосса о том, что

в условиях жесткой конкуренции между ивритским культурным проектом (впоследствии реализованным в Земле Израиля) и идишем (на котором был основан созданный в 1920-е годы в Советском Союзе крупный социалистический культурный центр) русский язык не сыграл значительной роли в формировании послереволюционной советской еврейской интеллигенции [Moss 2009: 69–70], сбрасывает со счетов роль тех еврейских художников и писателей, которые свободно перемещались как в русских, так и в еврейских кругах; другие – например, Мандельштам, Пастернак, Багрицкий – удалились от еврейства.

Действительно, советские еврей-коммунисты, боровшиеся за утверждение идиша в качестве языка советской еврейской культуры, вели безнадежную битву с русским языком, который был мощной ассимиляционной и социально мобилизующей силой. Гарриет Мурав показала, что русская еврейская литература использовала наследие и темы идишского модернизма, а также коллективную память о погромах, отметив, что Бабель «оглядывался через плечо на идиш» [Мурав 2022: 21]. Я буду утверждать, что Бабель жил в светской идишской традиции и не только восхищался (взаимно) ведущими деятелями идишской культуры, но и, как и они, ожидал социалистического будущего, при этом оплакивая утрату еврейского культурного прошлого. Его рассказы выходили в переводе на идиш; его собственные переводы классических и современных идишских писателей, его киноработы свидетельствуют о погружении в идиш; к тому же, как я покажу, идиш дышит в закодированных подтекстах его русской прозы.

Раньше евреи были в русской культуре нежеланными гостями, а после захвата власти большевиками они быстро заполнили вакуум, оставшийся от старой русской интеллигенции. Россия была для них, как говорится, родной землей, а русский язык для этого поколения был родным, хотя это и вызывало споры – между Корнеем Чуковским, Жаботинским и другими в 1908 году²⁰, а также на конференции в Черновцах²¹. Но вопрос самоидентичности русско-еврейского писателя не был простым. В письме к Горькому в 1922 году Лев Лунц, один из ведущих участников «Серрапионовых братьев», говорил о внутреннем конфликте, «этическом противоречии» между ярко выраженным и сильным чувством еврейской идентичности и верностью России и русской литературе:

Но я – *еврей*. Убежденный, верный, и радуюсь этому. А я – *русский* писатель. Но ведь я русский еврей, и Россия – моя родина, и Россию я люблю больше других стран. Как примирить это? – Я для себя примирил все, для меня это ясно и чисто, но другие думают иначе. Другие говорят: «не может еврей быть русским писателем» [Лунц 2003: 546].

Бабель же представляет себя примером русского писателя, верного еврейству и еврейскому быту. Элис Нахимовски в своей книге о русских еврейских писателях указывает на тексты Бабеля как на «самую насыщенную в русской литературе картину еврея, находящегося между двумя мирами» [Nakhimovsky 1992: 106].

Евреи быстро научились быть чувствительными к обвинениям в «национализме», особенно если у них было бундовское или сионистское прошлое, которое требовалось скрывать. Теперь они пытались переродиться в лояльных советских граждан, чтобы отличаться от старого («плохого») еврея и претендовать на статус нового («хорошего»), уже отрезавшего себя от своего буржуазного (этнического) происхождения: согласно партийной пропаганде, погромный опыт был феноменом феодального царизма, а национальные различия – симптомом классовой борьбы, вследствие чего антисемитизм исчезнет вместе с капиталистической системой. Выбор в пользу русского языка становился заявлением об идеологической идентичности, поскольку идиш и иврит откликались на старый уклад и преемственность еврейского национального

²⁰ Статьи Чуковского «Евреи и русская литература» и Жаботинского «О “Евреех и русской литературе”». – *Прим. пер.*

²¹ Международная конференция о решении языкового вопроса для еврейской культуры, прошла в 1908 году в городе Черновцах. – *Прим. пер.*

существования. Русский язык, в свою очередь, можно было закодировать средствами «скрытого языка» Чужого.

Дистанция, которая отделяет советского еврея, пишущего на русском языке, от еврейского прошлого, измеряется его политкорректным декларированием своей классовой принадлежности и готовностью осудить еврейскую религию и буржуазию. В произведении комсомольского поэта Михаила Светлова «Стихи о ребе» (1923) рассказчик устремлен в будущее, и он поворачивается на восток, к Иерусалиму, традиционному направлению еврейской молитвы, только для того, чтобы посмотреть, не идет ли его товарищ-комсомолец. И ребе, и священник обречены на гибель вместе со старым миром. Они оба заклеены стереотипным обвинением в финансовых спекуляциях, то есть в экономическом саботаже и антикоммунистическом, нелояльном поведении. Закат окрашивает *штетл* и его темную, пустую синагогу в цвет красного знамени, которое заменяет выцветший Талмуд. Поэма Светлова «Хлеб» (1929) обнаруживает новое родство между евреем Самуилом Либерзоном, пострадавшим в погромах, и русским бывшим погромщиком Игнатием Можаяевым – это классовая солидарность отцов, потерявших своих сыновей, которые сражались за новый режим. Светлов, во всяком случае, вспоминал о еврейском прошлом с некоторой меланхолией и болью и описывал еврейского революционера-мученика как нового Моисея на советском Синае, как гордого потомка Маккавеев.

Эдуард Багрицкий, одесский поэт, в «Происхождении» (1930) проклял свое еврейство и совершил типичный для себя разрыв с еврейскими ритуалами, потерявшими для революционной еврейской молодежи всякий смысл. В излюбленных темах Багрицкого – охоте и рыбалке – мало специфически еврейского [Shrayer 2000]. Когда речь заходит об определении коллективной памяти для будущего поколения, Багрицкий в «Разговоре с сыном» (1931) обращается к архетипическому образу перьев, летящих во время погрома²², но следующему поколению завещает надежду на интернационалистическую вселенную, где подобного не будет. Все-таки Багрицкий, исповедующий атеизм и увлекшийся романтикой коммунистической революции, продолжал ностальгировать по родным берегам. В «Возвращении» (1924) и в посмертно опубликованной длинной поэме «Февраль» (1933–1934) он удивлялся тому, как такой же хилый еврейский мальчик, как он сам, стал поэтом, любящим природу и женщин. Он не скрывает своего обрезания и не шутит, подобно идишскому поэту Ицику Феферу²³: «ну и что, что я обрезан?» Бабель, друг и соратник Багрицкого по Одессе, восхвалял его после смерти от туберкулеза в 1934 году за то, что он сочетал в себе дух комсомола и «Бен Акивы» (Собрание сочинений, 3: 373)²⁴.

Примеры Светлова, Уткина²⁵ и Багрицкого иллюстрируют парадокс советского еврея-коммуниста, которому приходилось доказывать свою лояльность коммунизму и советскому государству, демонстративно отрицая все, что хоть сколько-нибудь похоже на «национализм», то есть все еврейское. Но отрыв от собственной памяти о прошлом и семье не решал проблемы идентичности. Евреи, менявшие свои имена на «нейтральные» русские или фамилии – на демонстративно связанные с революцией, все равно должны были доказывать свою ненависть к этническому прошлому в большей степени, чем их нееврейские товарищи (что не помогло им, когда в ходе послевоенной «антикосмополитической» кампании Сталина многие писатели и критики были «разоблачены» в печати посредством публикации их подлинных фамилий).

²² Перья и пух из подушек, разорванных ворвавшимися в дом погромщиками. – *Прим. пер.*

²³ Ицик Фефер (1900–1952) – поэт, писавший на идише, бундист. Расстрелян как участник Еврейского антифашистского комитета С. Михоэлса. – *Прим. пер.*

²⁴ Бней Акива (Сыны Акивы) – молодежное движение религиозной сионистской партии «Поэль мизрахи» (основана в Польше в 1929 году); учитывая их идеологическую направленность и преследование сионистской деятельности в Советском Союзе, упоминание о них вызывает недоумение. Бабель, вероятно, имел в виду самого рабби Акиву, знаменитого мудреца времен Талмуда, который был замучен римлянами за свою преданность иудаизму.

²⁵ И. П. Уткин (1903–1944) – поэт, журналист, автор поэмы «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайте и комиссаре Блох» (1925) о переменах, происходящих в *штетле* после революции. – *Прим. пер.*

Евсекция²⁶ проявила особое рвение в преследовании всех форм религии и сыграла важную роль в подавлении еврейских культурных учреждений, после чего сама была ликвидирована [Gitelman 1972]. Однако в первое десятилетие после революции евреям было проще справиться с антисемитскими стереотипами в русской литературе, поскольку дискриминация была официально ликвидирована вместе со старым порядком. Но труднее оказалось справиться с предрассудками в широких массах. Так, например, в небольшом романе «Человек, падающий ниц» (1928) писателя-конформиста М. Э. Козакова²⁷ рассказывается о болезненном опыте антисемитизма, который никуда не делся, несмотря на официальную политику и пропаганду партии. В «Иване-да-Марье» (1920–1928) Бабеля, где описывается поволжская реквизиция зерна в 1918 году, рассказчику напоминают, что он еврей, который всегда будет инородцем в своей родной России.

²⁶ Евсекция, или еврейская секция ВКП(б), создавалась с 1918 года. Ликвидирована в 1930 году. – *Прим. пер.*

²⁷ М. Э. Козаков (1897–1954) – писатель, драматург, в частности, автор трагисатирических рассказов и романа «Крушение империи» о Февральской революции. – *Прим. пер.*

Двойная запись

В антологии «Испанские и португальские поэты, жертвы инквизиции» (1934) советский еврейский поэт и критик В. Я. Парнах сравнивал еврейских поэтов в России с марранами²⁸. Эта аналогия была впервые проведена в картине Моисея Маймона «Марраны» (1893), намекавшей на преследование московских евреев царской полицией. Осознавая свой марранский статус, писатели, подобные Бабелю, могли кодировать подтекст своей русской прозы для тех еврейских читателей, которые владели «скрытым языком» евреев [Gilman 1986] – своего рода «двойной записью»²⁹. «Двойная запись» обеспечивала идеологическое прикрытие, в то время как тайный подтекст говорил об ином культурном и языковом знании, а также об ином понимании исторических событий с точки зрения многовекового еврейского страдания. В противоположность этому, Мандельштам и Пастернак отстаивали культурные формы русскости и христианства, а вечный хамелеон Эренбург менял кожу в соответствии с изменениями режима и партийной политики, как некоторые люди меняют обувь, когда она перестает подходить [Sicher 1995: 112–164; Лежнев 1927: 95–118]. Поэты Багрицкий, Уткин, Светлов, каждый по-своему, отвернулись от еврейского прошлого, используя идиш и еврейские отсылки, чтобы идентифицировать себя по отношению к тому, что они скорее отвергали, чем разделяли [Friedberg 1984: 27–29]. Напротив, в «Истории моей жизни» А. И. Свирского герой Давид возвращается к идишу, после того как пережитый погром вызывает у него желание покинуть Россию [Свирский 1936: 214]. Тем не менее в послереволюционные годы идиш мог сливаться в разговорном русском языке и в литературе с диалектами, регионализмами и сленгом, но для евреев он оставался знаком идентификации культурной и этнической принадлежности, а также обозначал художественные и идеологические переходы, например, в использовании Эль Лисицким каллиграфии и ивритских текстов для иллюстраций к «Шифс-карте» Эренбурга [Sicher 1995: 65–70; Wechsler 1995]. И, конечно, идиш был очевидным элементом одессизмов и уголовного сленга в ранних рассказах И. А. Ильфа (Файнзильберга), а также в его и Е. Петрова сатире «Двенадцать стульев» (1928), напоминающей рассказы Шолом-Алейхема о Менахем-Менделе [Шолом-Алейхем 1988-1990, 2: 7–118]. И все же из всех евреев, писавших на русском языке после Октябрьской революции, никто не владел еврейскими подтекстами в большей степени, чем Бабель, и ни для кого из них еврейская идентичность и идиш не были столь естественными и врожденными, как для Бабеля.

Моя книга показывает, что культурная идентичность Бабеля сложна; это пример признанного советского еврейского писателя, для которого русская культура была своей, но который при этом смог ввести в русскую литературу сильных и независимых еврейских персонажей, уверенных в своей идентичности [Safran 2002]. Бабель как писатель, в полной мере принадлежащий как русской, так и еврейской культуре, уловил жестокую иронию в положении еврея, живущего в обоих мирах и понимающего, что новый социалистический строй уничтожает еврейское прошлое. При этом сам Бабель, похоже, никогда не терял надежды на то, что социализм принесет лучшее будущее.

В первой главе исследуется судьба Бабеля как писателя, отказавшегося поступиться своей литературной целостностью в эпоху, когда очень мало тех, кто не шел на компромисс, оставалось в живых. Через литературную карьеру Бабеля мы увидим, какие противоречия

²⁸ Потомки испанских евреев, принявших христианство в конце XV века, после предписания евреям покинуть страну или креститься. Они тайно сохранили иудейские обряды, но жили как христиане, в постоянном страхе раскрытия. – *Прим. пер.*

²⁹ В английском *double entry bookkeeping* – термин бухгалтерского учета, согласно которому каждая финансовая операция имеет равные и противоположные последствия как минимум на двух разных счетах; получается игра слов, когда речь идет одновременно о двойном бухгалтерском учете и о двойной писательской идентичности для разных читательских публик. – *Прим. пер.*

и конфликты скрывались за загадкой Бабеля. Это история литературной политики в сталинской России, а также личная трагедия, закончившаяся гибелью в расцвете сил великого писателя, который так и не смог писать «на заказ».

Вторая глава этой книги посвящена анализу подтекстов в рассказах Бабеля. В частности, рассматриваемые мною случаи – игривые каламбуры и двусмысленность в идише – рассказывают о работе отсылок в рамках многоязычной литературной полисистемы. Контекст апокалиптических настроений в Петрограде во время революции и Гражданской войны по-новому освещается в рассказе «Шабос-Нахаму» (1918).

В третьей главе обсуждается одесский контекст. В Одессе Бабель знал Бялика³⁰ и Менделя Мойхер-Сфорима³¹, входивших в число крупнейших деятелей современной литературы на иврите и идише. В «Конармии» есть удивительные отголоски стихов Бялика, которые большинство еврейских читателей знали наизусть в оригинале или в русском переводе. Внимательное чтение отрывков из «Конармии» обнаруживает эти интертекстуальные подсказки к «двойной записи» Бабеля. Встреча Лютова со своим альтер эго, Ильей Брацлавским, – это не выдумка еврейского коммуниста, а раскрытие забытого эпизода из советской еврейской истории и ивритской литературы.

Еврейские коммунисты были обманутыми идеалистами, которые хотели воплотить видения пророков в строительстве социалистического общества. Но Бабель в своем понимании истории никогда не терял чувства иронии. Радикальная историческая перспектива достигается им через «мидрашическое»³² прочтение мифа. Мы увидим в четвертой главе, что «мидрашистский» подход не только приводит к поразительным сопоставлениям, но и показывает, что история представляет собой цикличность, а не диалектичность, как в ортодоксальной марксистской интерпретации. В дополнение к этому появляются альтернативные точки зрения на историю: еврейская и русская, каждая из которых имеет свои литературные и культурные референты.

Любовь Бабеля к Мопассану выразилась в чем-то большем, чем прямое литературное влияние, и в пятой главе рассматривается, как Бабель образно перерабатывает рассказы французского писателя в спор о цене, которую приходится платить художнику за гений и славу. Это также спор об этике искусства, поскольку в двух рассказах Бабеля («Гюи де Мопассан» и «Поцелуй») с объединенными интертекстуальными голосами Мопассана и Чехова сталкивается Толстой. Из рассказов Бабеля и его собственных переводов Мопассана выстраивается размышление об искусстве и художнике, ставится вопрос о личной и моральной цене творческого успеха без отказа от радости жизни одесского еврея, даже если, как Гоголь и Чехов до него или как его современник Зощенко, он видит вокруг себя лишь пошлость³³.

Сравнение в следующей главе рассказов «Конармии» с другими текстами о Гражданской войне в России, такими как «Чапаев» Фурманова или «Разгром» Фадеева, приводит к вопросу, насколько Бабель отличается от современников. Я покажу, что Бабель – дитя своего времени и в то же время оригинальный голос в советской прозе 1920-х годов. Тем не менее его тексты отличает необыкновенное эстетическое качество повседневного опыта современности, какое мы находим у Конрада, Джойса и Вулф. В частности, дневник, который Бабель вел во время похода Буденного в Польшу в 1920 году, и черновики «Конармии» свидетельствуют о глубокой душевной ране, моральной дилемме между идеалами революции и собственной еврейской судьбой, когда Бабель стал свидетелем жестокости войны и страданий евреев. Творчество Бабеля – это ярко выраженное модернистское изображение войны и тревожный лиризм

³⁰ Хаим Нахман Бялик (1873–1934) – поэт, писал на иврите, занимался преподаванием; автор «Сказания о погроме», поэмы о погромах в Кишиневе (1903). – *Прим. пер.*

³¹ Менделе Мойхер-Сфорим (1832–1917) – писатель, считается основоположником светской литературы на идише. – *Прим. пер.*

³² Мидраш – вид еврейской литературы и иудаистической экзегезы, небуквальное толкование Библии. – *Прим. пер.*

³³ О рецепции Чехова того времени см. [Семанова 1966: 165–169].

жестокого пейзажа. Конармейские рассказы заслуживают сравнения с другими модернистами, писавшими на иврите и идише, в том числе с одним из них, находившимся по другую сторону русско-польского фронта, – идишским романистом Израэлем Рабоном, чей шокирующий рассказ о той же войне перекликается с некоторыми эпизодами «Конармии».

Последняя глава переносит нас на другую, более страшную арену боевых действий – речь о кампании по коллективизации. Здесь уже не будет двусмысленности. Бабель был свидетелем сталинской насильственной коллективизации украинских деревень в 1929–1930 годах и был потрясен ужасами массового выселения, депортации и разрушения традиционного уклада: во имя сталинизма миллионы людей были высланы из родных мест или погублены. И отстраненность рассказчика «Конармии» переходит на еще более беспристрастный уровень шокирующего морального наблюдения. Так и не завершенная книга Бабеля, «Великая Криница», выделяется своей мощной сдержанностью на фоне «Поднятой целины» Шолохова или вялой конформистской прозы 1930-х годов.

Сравнительное прочтение Бабеля позволяет переосмыслить его как сложную фигуру, не принадлежавшую ни одной литературной группе, чье иконоборческое искусство было очень созвучно модернизму своего времени. При этом, совершая свой личный выбор между разными женщинами и странами, будучи советским автором и борясь за выживание в эпоху идеологических требований и чисток, он оставался глубоко еврейским писателем по своему мировоззрению и литературным традициям. И это, возможно, его самый оригинальный вклад в русскую литературу.

Глава 1

Случайный свидетель истории

Краткий очерк короткой жизни писателя

Начало

Исаак Бабель родился на Молдаванке, в убогом рабочем районе Одессы, 13 июля (30 июня по старому стилю) 1894 года в семье Эммануила Исааковича, родившегося в Белой Церкви в 1863 или 1864 году, и Фени (Фейге) Ароновны, дочери Аарона Моисеева и Хаи-Леи Швехвель, родившейся в 1862 году. Первоначальная фамилия семьи была Бобель, но Эммануил Исаакович изменил ее около 1911 года на Бабель [Цукерман 1981; Погорельская, Левин 2020: 19–23]³⁴. В 1899 году Бабели переехали в Николаев, где Эммануил Исаакович работал в фирме Бирнбаума, торговавшей сельскохозяйственными машинами. Позднее он открыл в Одессе свою торговую фирму. Исаак учился в Коммерческом училище имени С. Витте, где процент еврейских учеников был выше благодаря финансовой поддержке школы местными евреями³⁵: «Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в подготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас» (Детство: 36). Так описывает подготовительные экзамены в одесскую гимназию, в реальное училище, и в коммерческое училище более чем десятью годами ранее русско-еврейский журналист и будущий руководитель сионистов-ревизионистов Владимир (Зеэв) Жаботинский: «С 1888 года был введен закон, согласно которому в государственные учебные заведения принимался один еврей на девять христиан, и поэтому возросла конкуренция между экзаменуемым Моисеева закона. Поступить удавалось лишь настоящим вундеркиндам или тем, чьи родители давали солидный куш учителям, а я был гол с обоих боков» [Жаботинский 1985: 15].

В 1905 году юный Исаак был отправлен обратно в Одессу, на Тираспольскую улицу, к тете Кате (Гитл), после чего семья поселилась на соседней улице, Дальней. Затем они переехали на Ришельевскую улицу, в фешенебельный центр города. В январе 1906 года Бабель поступил в Коммерческое училище имени Николая I. «Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино» («Автобиография», Детство: 7)³⁶.

Ни «Автобиография» Бабеля, написанная в 1924 году для подтверждения идеологического авторитета советского писателя, скрывавшего свою крайне индивидуальную личность за декларируемой лояльностью советского писателя, порвавшего с буржуазным еврейским прошлым, ни так называемые автобиографические рассказы не имеют строгого отношения к фактам. Отец Бабеля, например, был не особенно успешным коммерсантом³⁷. Это отнюдь не еврейский маклер или брокер, как, например, Менахем-Мендель Шолом-Алейхема или бабелевский Цудечкис в рассказе «Справедливость в скобках». Мать Бабеля, Феня, по свидетельству дочери

³⁴ См. также [Александров 2011: 23–25].

³⁵ О детстве Бабеля в Николаеве см. [Погорельская, Левин 2020: 23–33].

³⁶ Ср. [Жаботинский 1985: 18]. См. также: [Кацис 2019; Погорельская, Левин 2020: 35–54].

³⁷ В 1912 году из 25 фирм по продаже сельскохозяйственных машин пять принадлежали евреям [Еврейская энциклопедия 1908–1913, 12: 60].

писателя Натали Бабель, была совсем не похожа на Рахиль из рассказов о детстве в Одессе, которые считаются автобиографическими и были задуманы для сборника «История моей голубятни». О своей книге Бабель писал родным: «Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переименовано, – когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего мне все то было нужно»³⁸. Однако фантазии «лживого мальчика» из рассказа «В подвале» все же вносят некую поэтическую правду в реальную жизнь его сумасшедшего деда, опального раввина из Белой Церкви, и его вечно пьяного дяди Симона-Вольфа. Более того, позиция вымышленного рассказчика, вспоминающего свое детство, создает, как мы увидим, ироническую дистанцию с историческими событиями, которые он так болезненно переживает.

Нет ничего более естественного, чем изучение иврита, Библии и Талмуда дома под руководством *меламеда*, или репетитора. Бабель, однако, пишет в своей «Автобиографии», будто это было исключительно по настоянию отца, в рамках семейного давления на мальчика, которого с утра до вечера заставляли учить множество предметов (Детство: 7). У Жаботинского тоже был домашний репетитор по ивриту (не кто иной, как знаменитый писатель Равницкий!³⁹), так что, видимо, для одесских родителей среднего класса было вполне обычным делом прививать какие-то зачатки иудаизма и иврита своим сыновьям, которых заставляли добиваться успехов в учебе, чтобы поступать в вузы или становиться богатыми коммерсантами. Жаботинский и Бабель оказались среди других русскоязычных этнических меньшинств в государственной школе и могли испытывать гордость за свое еврейское происхождение, но в то же время идентифицировать себя с русской культурой, которая для многих ассимилированных евреев была ключом к «культурности» и социальному успеху [Жаботинский 1985: 16]. И все же с наступлением реакции после 1881 года, «Майских законов»⁴⁰ и погромов, а затем – с усилением социальных волнений и насилия в начале XX века перед евреями стоял выбор между революционным социализмом и сионизмом. Зажиточные ассимилированные евреи, описанные Жаботинским в его одесском романе «Пятеро» [Жаботинский 1936]⁴¹, были «русскими во всех смыслах, кроме одного, который теперь имел наибольшее значение: способности прокладывать свой путь в обществе, все более разделявшемся по национальному признаку» [King 2011: 157]. Бабель повзрослел уже после революции 1905 года и погромов, когда Жаботинский (на 14 лет старше его) больше не жил в Одессе, а описанный им мир уже пребывал в упадке. Бабель встречался с Жаботинским лишь однажды, в Париже в 1935 году, согласно его показаниям на допросе в НКВД, и вообще имел с ревизионистским лидером мало общего [Соколянский 2002].

В романе «Пятеро» рассказывается о примечательной семье, Мильгромах, с которой подружился рассказчик и за которой он наблюдает во время революции 1905 года. Жаботинский, со своим критическим взглядом на еврейскую буржуазию, изображает упадок ассимилированных еврейских нуворишей, их моральную и духовную дегенерацию по мере того как революционные движения начинают угрожать закону и порядку, распространяя свои идеи среди молодого поколения, движимого аморальным стремлением найти выход своей энергии, будь то в распутных и преступных приключениях или в подпольных политических и террористических ячейках [Nakhimovsky 1992; Scherr 2011]⁴². Что примечательно в романе Жаботинского и в его автобиографии, написанной под идеологическим углом эмиграции и приверженности

³⁸ Письмо к матери из Молоденово, 14 октября 1931 года (Собрание сочинений, 4: 297).

³⁹ Иехошуа Хоне Равницкий (1859–1944) – литературный критик, публицист, идеолог сионистского движения. – *Прим. пер.*

⁴⁰ «Майские законы», или «Майские правила», или «Временные правила» – так называли циркуляр Кабинета министров «О порядке приведения в действие правил о евреях», изданный в 1882 году и вводивший серьезные ограничения для евреев на покупку и аренду земли, а также на ведение торговли. – *Прим. пер.*

⁴¹ См. также [King 2011: 156].

⁴² См. также [Katz 2002].

ревизионистскому сионизму, так это сознательная самоидентификация в качестве еврея, гордое этническое соперничество. Сколь бы русифицированными и далекими от еврейской традиции ни были евреи из среднего класса, они все же представляли собой мир, отдельный от еврейских масс Молдаванки и Пересыпи. Однако, как заключила Рошель Сильвестр на основе своего исследования одесской прессы 1910-х годов, эта среда среднего класса (как еврейского, так и русского) была довольно ограниченной, и ее привлекали не литературные клубы интеллектуальной элиты, а сенсационные сообщения о преступности и проституции или мелодрамы и комедии о еврейских родителях, борющихся с брачными планами своих непутевых детей [Sylvester 2005]. Их дети, напротив, часто тянулись к революционным и другим социалистическим движениям, а также к сионизму, который пользовался большой популярностью (одно время в сионистскую молодежную группу входил и Бабель)⁴³.

Бабель занимался игрой на скрипке – без большого успеха, но, вероятно, и без большой неохоты, у П. С. Столярского (1871–1944) – прототипа Загурского в «Пробуждении», хотя его родителям вряд ли требовалось полагаться на его удачу как музыканта, чтобы вытащить себя из нищеты, как маклерам и лавочникам в рассказе Бабеля. Бабель обладал неутолимой жаждой знаний: «Учись, ты добьешься всего – богатства и славы. Ты должен все знать» (Детство: 34), – выражают это в его произведении «Детство. У бабушки» слова вымышленной бабушки, которая плохо говорит по-русски вперемешку с польским и идишем и не умеет читать и писать (бабушка Бабеля по материнской линии, Хая-Лея Тодресова, родившаяся в Одессе в 1841 году, была неграмотной). Юный Бабель прятался со своими книгами под обеденным столом, где при свете свечи, скрытой длинной скатертью, читал часами напролет:

Дома с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. <...> Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, поляки благородного происхождения, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино (Детство: 7).

Тем не менее одноклассник вспоминает, что Бабель, который в 13–14 лет прочитал все 11 томов карамзинской «Истории государства Российского», превосходил в своих ответах учителя истории. Учитель французского языка, месть Вадон, которого Бабель удостоил упоминания в «Автобиографии», действительно заинтересовал нескольких учеников французской литературой. Бабель тайком писал свои задания по французскому языку во время уроков немецкого, время от времени отпуская несдержанные восклицания, которые привлекали внимание недалновидного герра Озецкого:

Озецкий всегда в этих случаях, обращаясь к Бабелю (он называл его Бабыл), произносил одну из двух фраз: «Babyl, machen Sie keine faule Witzen!» или «Aber Babyl, sind Sie verrückt?» («Оставьте свои плоские шутки», «Вы что, с ума сошли?») [Берков 1989: 203].

Бабеля часто можно было увидеть с книгами Расина, Корнеля и Мольера. Записные книжки, относящиеся к этому периоду, свидетельствуют о том, что он много читал: Чехова, Розанова – противоречивого религиозного философа с причудливыми взглядами на евреев, а также на пол и секс; имеется и интересное упоминание об английском историке искусства XIX века Уолтере Патере⁴⁴. Между листами тетради аккуратно вложено обычное школь-

⁴³ По сведениям его сестры Марии, которые приводятся в [Stora-Sandor 1968: 18–20].

⁴⁴ О возможном влиянии Патера на Бабеля см. [Bullock 2009].

ное сочинение о Пушкине. Однако не осталось никаких следов рассказов на французском языке, упомянутых в «Автобиографии».

Однако процентная норма не позволила Бабелю поступить в Одесский университет, и в сентябре 1911 года он был принят в Киевский коммерческий институт. Во время учебы в Киеве Бабель общался с местной ассимилированной еврейской интеллигенцией, в том числе с семьей делового партнера его отца Бориса (Дов-Бера) Гронфейна, на дочери которого Евгении (Жене), начинающей художнице, он женился в 1919 году. Впервые о литературных амбициях Бабеля его школьные друзья узнали из пьесы, которую он читал им между 1912 и 1914 годами во время одного из своих приездов домой из Киева [Берков 1989: 204]. Именно в это время появился первый известный нам рассказ Бабеля, опубликованный в 1913 году в киевском журнале «Огни». В рассказе «Старый Шлойме» описывается, как дряхлый еврей Шлойме, видя своего сына, ассимилирующегося и переходящего в другую веру под социально-экономическим давлением, приходит сначала к почти забытой вере своих предков, а затем – к самоубийству. Поводом для рассказа послужил судебный процесс над Менделем Бейлисом, открывшийся в Киеве в 1911 году и ставший крупнейшей антисемитской кампанией со времен «дела Дрейфуса», которое получило мировую огласку. Летом 1913 года ограничения против евреев были введены и в Коммерческом институте, однако Бабелю удалось успешно завершить обучение в 1915 году, после того как из-за войны институт эвакуировали в Саратов [Погорельская, Левин 2020: 58]. Рассказ появился в контексте дебатов по «еврейскому вопросу», и антиеврейские постановления придали остроту его завершению, совершенно необъяснимому для современного читателя, – самоубийству старика Шлойме. Труп дряхлого старца покачивается возле дома, где он оставил теплую печь и «засаленную отцовскую Тору» (Детство: 14) – брошенное наследие старшего поколения («Тора» понимается в более широком смысле иудаизма и религиозного права), которое было отвергнуто вместе с этнической идентичностью русифицированными евреями, надевавшимися на экономическое продвижение и социальное признание. Недосказанность громче всякого пафоса говорит о дилемме еврея, разрывающегося между надеждой и отступничеством, в обществе, которое не принимает евреев даже после того, как они оставили веру своих отцов. Выселение евреев из деревень после суда над Бейлисом – это фон, который объединяет рассказ Бабеля с Шолом-Алейхемом, как я покажу во второй главе. В рассказе подчеркивается отчаяние, которое охватило российское еврейство.



Илл. 1. Бабель со своим отцом. Николаев, 1902 год

Неизменный интерес Бабеля к еврейскому вопросу подтверждает также его недатированная и неоконченная рукопись, написанная в дореволюционной орфографии, – «Три часа дня». Еврей Янкель пытается помочь своему русскому домовладельцу, отцу Ивану, спасти сына, арестованного в Москве за избиение пьяного крестьянина. Эти необыкновенные отношения между евреем и православным священником позволяют Бабелю увидеть жестокие и зачастую абсурдные парадоксы жизни русского еврея: русскому нужен еврей за его предпринимательские способности, умение обращаться с деньгами, в то время как еврей заботится о своем шефе, не обращая внимания на его антисемитские настроения.



Илл. 2. Бабель и его товарищи по училищу (слева направо: А. Вайнтруб, А. Крахмальников, И. Бабель, И. Лившиц)

Вхождение еврейского интеллектуала в русскую литературу во времена царского режима часто стоило ему определенной деградации ради права проживания в Петербурге или Москве. Своего рода исключением в этом смысле был Л. О. Пастернак, еврейский художник из Одессы и отец знаменитого поэта, обосновавшийся в Москве в 1890-е годы. Бабеля повезло, он поселился там на законных основаниях и не испытывал неудобств в семье инженера Л. И. Слонима, изучая право в Психоневрологическом институте⁴⁵ – гуманитарном вузе, известном революционной активностью своих студентов. Тем не менее в «Автобиографии» он хвастал, хотя и несправедливо, что у него не было вида на жительство, которое требовали от евреев, и он жил в подвале с пьяным официантом, скрываясь от полиции: «В Петербурге мне пришлось худо, у меня не было “правожительства”, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного пьяного официанта» (Детство: 7)⁴⁶.

Здесь необходимо сделать еще одну поправку к «Автобиографии» Бабеля. В ней подчеркивается, что своим вхождением в литературу Бабель полностью обязан Горькому, и описывается, как Бабель безуспешно пытался пристроить свои рукописи в редакции различных русских журналов. Однако, как мы видели, его настоящий дебют произошел при совсем других обстоятельствах. По сути, кроме двух рассказов, изданных Горьким, Бабель успел в 1916–1918 годах опубликовать в петроградских журналах несколько очерков и эротических рассказов. Рассказы «Мама, Римма и Алла» и «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» Горький напечатал в своем литературном журнале «Летопись» в ноябре 1916 года. В первом рассказе измотанная русская женщина из среднего класса, пытающаяся свести концы с концами во время длительного отсутствия мужа, обнаруживает, что ее дочь пытается сделать аборт; в другом – одесский еврей Эли Гершкович уклоняется от исполнения законов о прописке, ночуя у русской проститутки Маргариты Прокофьевны:

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.
– Ты еврей?
Он посмотрел на нее через очки и ответил:
– Нет.
– Папашка, – медленно промолвила проститутка, – это будет стоить
десятку.
Он поднялся и пошел к двери.

⁴⁵ Ныне – Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева. – *Прим. пер.*

⁴⁶ См. также [Погорельская, Левин 2020: 73–78].

– Пятерку, – сказала женщина.
Гершкович вернулся (Детство: 16).

Удивительно, но между ними возникает взаимопонимание, и их взаимная симпатия преодолевает барьеры между двумя маргиналами, страдающими от царских дискриминационных законов.

В автобиографическом очерке «Начало» (1938) Бабель рассказывает, что ему было предъявлено обвинение в попытке ниспровергнуть существующий строй и порнографии, предположительно из-за рассказов, появившихся в «Летописи», а также, возможно, из-за истории о вуайеристе в публичном доме, не вошедшей в журнал Горького, – ранней версии рассказа «В щелочку», появившейся после Февральской революции. Как он шутил, от тюрьмы его спасло то, что в феврале 1917 года народ поднялся и сжег его обвинительный акт вместе со зданием суда.

Очерки и проза Бабеля, опубликованные в петроградских журналах в 1916–1918 годах под псевдонимом «Баб-Эль» («Врата Бога» по-арамейски), включают его литературный манифест «Одесса» (1916). Там он взывает к литературному мессии из Одессы, русскому Мопассану, и отвергает Горького как ненастоящего «певца солнца». «Автобиография» умалчивает об этом программном призыве к омоложению закоснелой провинциальной литературы под влиянием южного солнца, а также о том, что Бабель описывал ужасы революционного Петрограда в меньшевистской газете Горького «Новая жизнь», которую Ленин закрыл в июле 1918 года за язвительные нападки на него. Горький использовал эту газету, чтобы выразить свою убежденность в значимости интеллигенции для возрождения нравственных ценностей, и призывал к отказу от насилия в политике, а после Октября – к восстановлению свободы личности. В своих репортажах Бабель остро подмечал недостатки нового режима, но продолжал отстаивать гуманные идеалы революции, будь то в учреждении для слепых или в родильном доме. В очерке «Вечер» с подзаголовком «из петербургского дневника» (1918) Бабель рассказывает: «Я не стану делать выводов. Мне не до них. Рассказ будет прост» (Собрание сочинений, 1: 303). Объективный взгляд журналиста выхватывает детали, раскрывающие общую картину. Он беспристрастно показывает жестокость и насилие летнего вечера в революционном Петрограде. Заканчивается очерк контрастной сценой веселья в кафе, где немецкие военнопленные наслаждаются сигарами: «начались белые ночи». Читателю открывается печальная правда о том, что происходило за кулисами большевистского захвата власти. Бабель понимал, что является свидетелем истории, но, как и во всем, что он писал, подходить к ней близко было опасно.

В «Автобиографии» отсылки к службе Бабеля на Румынском фронте (откуда он, видимо, был эвакуирован по состоянию здоровья) всячески отвлекают внимание от его неучастия в событиях Октябрьской революции, как и упоминания его службы в Наркомпросе и ЧК, где он, как и многие представители интеллигенции, возможно, некоторое время работал переводчиком, получая за это паек, необходимый для выживания в голодные годы военного коммунизма. Однако Натали Бабель, основываясь на том, что ей рассказывала мать, отрицает, что Бабель когда-либо работал в ЧК, а сотрудник архива ФСБ В. С. Христофоров в 2014 году сообщил, что никаких свидетельств его службы в ЧК не найдено [Погорельская, Левин 2020: 25–26; Пирожкова 2013: 268–269]. В «Вечере» рассказчик – это посторонний наблюдатель, который заглядывает в здание, где располагается местная ЧК, и видит, как молодого заключенного забивают до смерти. Однако служил ли Бабель в ЧК и в каком качестве – это в конечном счете предмет догадок, подкрепленных подробными описаниями чекистов в рассказах Бабеля «Вечер у императрицы», «Дорога» и «Фроим Грач», а также его собственным неоднократным хвастовством, что он там работал. Возможно, это было сделано для того, чтобы расположить к себе московские власти и усилить его мифическую славу, особенно когда после возвращения в Россию в 1928 году ему было необходимо дистанцироваться от русских эмигрантов в Париже. О том, что он подвергся более или менее жесткому бойкоту со стороны русских эмигрантов

в Париже как агент ЧК, Бабель намекнул в речи, произнесенной им в защиту от обвинений в политических девиациях и идеологической нелояльности на заседании секретариата писательской организации ФОСП в Москве 13 июля 1930 года⁴⁷.

В послереволюционный период Бабель был занят написанием рассказов на эротические темы («Doudou», «Сказка про бабу», «Иисусов грех») и экспериментировал в «орнаменталистском» стиле («Багра-Оглы и глаза его быка») для неоконченных серий «Петербург 1918» и «Офорты». Шкловский вспоминает, каким был Бабель в Петрограде 1919 года:

Бабель писал мало, но упорно. Все одну и ту же повесть о двух китайцах в публичном доме. <...> Китайцы и женщины изменялись. Они молодели, старели, били стекла, били женщину, устраивали и так, и эдак. Получилось очень много рассказов, а не один [Шкловский 1924: 153].

Это в итоге стало рассказом «Ходя», но, как и во многих других стилистических экспериментах Бабея того периода, существовал целый ряд вариантов на схожую тему.

Тогда же Бабель написал свое эстетическое кредо: рассказ «Линия и цвет», в котором настаивает на художественном, а не только политическом видении, на необходимости и линии, и цвета. А. Ф. Керенский, глава Временного правительства России, которого рассказчик встречает в финском санатории, предпочитает видеть мир без очков, как импрессионистическую цветную картину, в которой он может представить себе все, что пожелает. Рассказчик ему советует:

– Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, – вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклиная вас... (Собрание сочинений, 1: 264–265).

Очкастый Троцкий (это его упоминание впоследствии было исключено из текста наряду с другими упоминаниями о Троцком в произведениях Бабея) завершает рассказ бескомпромиссным видением судьбы революционной России, четко обозначенной *линии* партии. В июне 1917 года, когда Керенский возглавляет Временное правительство, а путиловцы идут в поход, очкастый еврей превращается в человека действия с ясным видением истории:

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России – матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ошетинившихся овчинах он – единственный зритель без бинокля? Не знаю...

Но вслед за ним на трибуну взошел Троцкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

– Товарищи и братья... (Собрание сочинений, 1: 266).

Напряжение между видением художника и видением человека действия пронизывает большую часть произведений Бабея. Пародируемый еврейский интеллигент в очках за письменным столом, завидующий людям действия и запинаящийся, лишь на мгновение появляется

⁴⁷ Стенограмма хранится в: ИМЛИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 5, 1.

в «Одесских рассказах», а в книге «Конармия» (1926) Лютов, вымышленное альтер эго Бабеля, представлен как одновременно ироничная и неоднозначная фигура очкастого еврея-интеллигента, пытавшегося быть «лютым» среди казаков в жестоком мире войны. В 1921–1923 годах Бабель работал одновременно и над «Одесскими рассказами», и над «Конармией»⁴⁸. Первые начали появляться с 1921 года, с рассказов «Король» и «Справедливость в скобках». Хотя в советские издания вошли только четыре произведения из цикла «Одесских рассказов», ранее были опубликованы девять рассказов, принадлежащих к тому же циклу, и сохранилась также неподписанная рукопись «Кольцо Эсфири»; действие в ней происходит в Одессе сразу после Гражданской войны, а ее стиль напоминает молодого Ильфа⁴⁹.



Илл. 3. Беня Крик. Рисунок Эдуарда Багрицкого. Советский диафильм, до 1934 года

⁴⁸ См. [Сливкин 1997].

⁴⁹ Оригинал рукописи, переданный Бабелем машинистке одесского журнала «Моряк» Лемке Земсковой, не сохранился, и поэтому не представляется возможным окончательно установить авторство текста, который, вероятно, датируется примерно 1923 годом. См. [Пирожкова 2013: 502–507].

«Одесские рассказы» обращены к довоенным временам, когда Одесса переживала период своего расцвета. Бенья Крик – король, новый «еврей с мускулами» – как будто заменил тощего еврейского интеллигента и ассимилированного еврея, желающего быть «евреем в своем доме и человеком на улице» (по знаменитой фразе Иехуды-Лейба Гордона). Эта наделенная силой мужественность роднит одесских гангстеров с казаками из «Конармии», с малиновыми жилетами и неослабевающим насилием. В обоих случаях очкастому еврейскому интеллектуалу трудно преодолеть еврейскую схоластику и стать мужчиной. У большевиков, однако, не было ностальгии ни по прошлому Одессы, ни по анархии, и постепенно поздние одесские рассказы приобретают оттенок печального сожаления о том, что было искоренено во имя советского будущего. «Конец богадельни» и «Фроим Грач» рассказывают о конце этоса, конце эпохи⁵⁰.

Сценарий фильма 1927 года «Бенья Крик», основанного на «Одесских рассказах», заканчивается тем, что Бенью во время Гражданской войны расстреливают красные, как в действительности Моше-Якова Винницкого, известного также как Мишка Япончик. Конечно, Мишка Япончик, послуживший моделью для Бени Крика, был отвратительным бандитом, каторжником, освобожденным в Февральскую революцию и терроризировавшим одесскую буржуазию в годы Гражданской войны. Романтического в его истории мало, несмотря на легенды о нем как о ставшем Робин Гудом анархисте, который, по преданию, говорил: «Не стреляйте в воздух, не оставляйте свидетелей» [Шкляев 2004: 17–29]⁵¹. Но Бабель, возвращаясь к дореволюционным одесским героям преступного мира, проецирует в прошлое ностальгию по образу жизни, которого больше нет, и сопротивляется официальному дискурсу, согласно которому в социалистическом советском обществе не оставалось места ни бандитам, ни тем более еврейским традициям. По понятным идеологическим причинам киноверсия «Одесских рассказов» «Бенья Крик» могла закончиться только тем, что победившие большевики ликвидировали главаря банды, как было и в реальной жизни, когда большевики в конце концов заманили в засаду и убили Винницкого⁵². На его похоронах в Вознесенске в июле 1918 года присутствовали Миньковский и знаменитый хор из Бродской синагоги, как в фильме и в рассказе «Как это делалось в Одессе», когда Бенья хоронит и незадачливого Савку Буциса, и бедного Мугинштейна, случайно убитого Буцисом во время налета.

Другим заметным отличием фильма является то, что защитником народных масс Молдавки выступает русский мастер-пекарь Собков, который организует борьбу с их бесчувственным эксплуататором Тартаковским. Тартаковский, комичная жертва вымогательства Бени Крика в рассказах, в фильме представлен как буржуй, сочувствующий белым, что задает правильную идеологическую линию. Вступление Винницкого в ряды большевиков было сугубо конъюнктурным, и в этом отношении Бенья Крик из фильма 1927 года ближе к историческим фактам. Решение большевиков ликвидировать бандитского главаря, после того как он попытался дезертировать со сформированным им батальоном, превращено в грубый пропагандистский прием, и фильм завершается тем, что новый плановый социализм сметает и бандитов, и буржуазную эксплуатацию благодаря усилиям таких пролетарских вождей, как Собков.

Однако в «Карле-Янкеле» (1931), рассказе о суде над *моэлем* (человеком, выполняющим ритуальное обрезание), социалистическое будущее изображается как двойственная надежда на лучший мир для будущих поколений. Такие «процессы» в 1920-е годы были частью репрессий против традиционного еврейского прошлого; обычно в них было еще меньше подобия справедливости, чем в рассказах Бабеля, и тем, кто признавался виновным в религиозных обрядах, выносились смертные приговоры. Любого, кто выступал в этих процессах против воли

⁵⁰ См. [Sicher 2023].

⁵¹ О мифах, окружавших Япончика, см. [Briker 1994: 129–131; Tanny 2011: 76–78, 160–167; Савченко 2012].

⁵² О сотрудничестве Миши Япончика с большевиками и о его «ужасном конце» см. [Budnitskii 2012].

«народа», обычно арестовывали. В рассказе Бабея несчастного младенца называют в честь как еврейского, так и марксистского патриархов – неоднозначное слияние судеб⁵³.

⁵³ См. [Avinis 1998]; Анна Штерншиш упоминает судебный процесс о неудавшемся обрезании, проходивший в Одесском оперном театре в 1928 году [Shternshis 2006: 95].

Еврей на коне

В «Автобиографии» Бабель рассказывает о своем семилетнем молчании после встречи с Горьким, во время которого он ходил «в люди»: он присоединился к зернозаготовительной экспедиции С. В. Малышева в Поволжье летом 1918 года (реквизиция зерна для голодающих в Петрограде), что легло в основу рассказа «Иван-да-Марья» (1932), и находился в Первой конной армии С. М. Буденного с мая по сентябрь 1920 года, что легло в основу «Конармии».

Рассказы Бабеля о Конармии восходят к его размышлениям о Первой мировой войне. В 1920 году четыре рассказа под заголовком «На поле чести» появились в недолговечном одесском журнале «Лава» под редакцией журналиста-коммуниста С. Б. Ингулова и поэта В. И. Нарбута. Три из них были адаптациями очерков на французском языке Западного фронта Гастона Видаля, чьи идеалы патриотизма и чести превращаются у Бабеля в ироничное осуждение бессмысленных жестокостей войны. Тем летом ненасытное любопытство и стремление к журналистскому опыту привели Бабеля (с помощью Ингулова) на должность военного корреспондента «Юг-РОСТА» (Южный отдел Российского телеграфного агентства), прикрепленного к Первой конной армии, возглавляемой легендарный С. М. Буденным. После тысячекилометрового марша конница Буденного вытеснила поляков с Украины и вторглась на территории Галичины и Волыни, тогда еще в значительной степени населенные евреями, среди которых было много набожных хасидов. Бабель взял русский псевдоним Кирилл Васильевич Лютов, под которым писал для фронтовой пропагандистской газеты «Красный кавалерист», но скрыть свою еврейскую принадлежность среди казаков было непросто. В дневнике, который он тогда вел, он описал дилемму, связанную с необходимостью быть свидетелем жестокого обращения с еврейскими семьями, у которых его селили и некоторые из которых страдали от недавних польских погромов⁵⁴. По прибытии в Житомир в начале июля 1920 года, после отступления поляков, Бабель описывает страшную разруху. Антисемитизм, распространенный в частях Красной армии, лишил Бабеля надежды на сочувствие его товарищей к тяжелому положению евреев. Некоторые красные казаки, в том числе члены 6-й дивизии Первой конной армии, также участвовали в погромах – например, при отступлении из Польши в сентябре 1920 года. Шестая дивизия была разоружена и расформирована, а специальный трибунал приговорил виновных к суровому наказанию; командирам Книге и Апанасенко (в рассказах Павличенко) был вынесен смертный приговор, но его заменили 15 годами каторжных работ и понижением в воинском звании. В августе 1920 года Вардин, начальник политического отдела Первой конной армии, написал в отчете, что войска Буденного, три четверти которых составляли крестьяне и казаки, лишь проявляли в отношении евреев предвзятость, но не были антисемитами. Однако погромы, которые не ограничивались шестой дивизией, показали масштабы антисемитского насилия среди большевистских войск, которые в какой-то момент подхватили клич своих идеологических врагов: «Спасай Россию, бей жидов и комиссаров» [Будницкий 2005: 438–493].

В погромах, произошедших в Украине, в Белоруссии и на юге России в 1918–1920 годах, погибло около 210 000 человек [Милякова, Зюзина 2005]⁵⁵. Наблюдая за грабежами и изнасилованиями, совершаемыми казаками, Бабель жалеет местных евреев, которые уже пострадали от рук поляков и белых, украинцев и партизанских отрядов, а теперь теряют то немногое, что у них осталось, из-за своих большевистских освободителей. Поселившись в Житомире вскоре после занятия города красными у семьи Учеников, он рассказывает им, что его мать была

⁵⁴ Дневник. Житомир, 5 <июля> 1920 года (Собрание сочинений, 2: 223); запись ошибочно датирована июнем, однако обширное вторжение началось именно в июле.

⁵⁵ См. также [Чериковер, Шехтман 1923–1932].

еврейкой, а также историю о дедушке, который был раввином в Белой Церкви (это похоже на историю мальчика из рассказа «В подвале»). Бабель защищает напуганную семью Учеников от мародеров, но в других случаях, когда его товарищи жестоко обращались с местным еврейским населением, он молчал, лишь рассказывая жителям разрушенных *штетлов* сказки о большевистской утопии в Москве. В статьях, которые Бабель написал для фронтовой газеты «Красный кавалерист» под псевдонимом Кирилл Лютов, он рассказывал о житомирском погроме и призывал красноармейцев отомстить за жертвы⁵⁶. В основе статьи «Недобитые убийцы»⁵⁷ лежит похожее негодующее описание погрома, учиненного белыми казаками в Комарове. Дневник лег в основу рассказов, повествующих о внутреннем конфликте еврейского интеллектуала Лютова, зажатого между мессианскими идеалами социализма и насилием революции, между своими оторванными корнями в еврейских традициях загнивающего мира и враждебностью казаков-антисемитов, презирающих его за интеллектуальный гуманизм⁵⁸. После нескольких недель работы в штабе, куда его призвали писать отчеты для политотдела (ответственного за партийную дисциплину и пропаганду в рядах) или служить фельдшером и переводчиком на допросах военнопленных, Бабель начинает сомневаться в своих идеалах и в целях революции:

У меня тоска, надо все обдумать, и Галицию, и мировую войну, и собственную судьбу (Леснев, 26 июля 1920 года. Собрание сочинений, 2: 264).

Почему у меня непроходящая тоска? Потому, что далек от дома, потому что разрушаем, идем как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде (6.8.20. Хотин. Собрание сочинений, 2: 285).

Все бойцы – бархатные фуражки, изнасилования, чубы, бои, революция и сифилис. Галиция заражена сплошь (28.7.20. Хотин. Собрание сочинений, 2: 267).

⁵⁶ Рыцари цивилизации // Красный кавалерист. 1920. 14 августа.

⁵⁷ Недобитые убийцы // Красный кавалерист. 1920. 17 сентября.

⁵⁸ См. [Avins 1994].



Илл. 4. Евреи Житомира, убитые польскими погромщиками в 1920 году

Временами Бабель скорбит о судьбах революции (23–24 августа), в других случаях он впадает в отчаяние от насилия и анархии, наступивших на территориях, которые еще не оправились от разрушений Первой мировой войны. В конце августа он становится свидетелем расстрела пленных (сюжет рассказа «Их было девять»). К еврейскому Новому году в начале сентября, после «чуда на Висле», когда большевики отступали по галицийской грязи, залитой дождем, он с радостью встречает еврейскую хозяйку, которая готова принять его в своем доме. В найденном между страницами дневника фрагменте письма, написанного, по-видимому, в середине августа жене Евгении Борисовне, Бабель дает понять, что устал от войны и не считает себя идеалистом:

Я пережил здесь две недели полного отчаяния, это произошло от свирепой жестокости, не утихающей здесь ни на минуту, и от того, что я ясно понял, к[а]к непригоден я для дела разрушения, к[а]к трудно мне отрываться от старины, от того, <...> что было м<ожет> б<ыть> худо, но дышало для

меня поэзией, как улей медом, я ухажу теперь, ну что же, – одни будут делать революцию, а я буду, я буду петь то, что находится сбоку, что находится поглубже, я почувствовал, что смогу это сделать, и место будет для этого и время (Детство: 362).

В этих строках отчетливо видна дистанция между автором и вымышленным Лютовым из рассказов «Конармии», а также обеспокоенность самого Бабеля по поводу насильственных средств революции и разрушения гуманитарных ценностей, которые она принесла.

Дневник явно велся с целью записать впечатления от польской кампании для дальнейшей литературной переработки, в нем часто встречаются портреты бойцов, заметки: «описать», «запомнить». Ранний черновик рассказа о еврейском местечке Демидовка, написанный в реалистическом стиле, сохранился на вырванной, по всей видимости, из дневника бумаге (что может объяснить отсутствие некоторых страниц в рукописи). Это свидетельствует о раннем этапе создания рассказов «Конармии» и позволяет предположить, что Бабель брал материал непосредственно из своих ранних впечатлений для модернистской обработки, позволяющей дистанцироваться от своего прежнего личного взгляда на события, как мы увидим ниже, в шестой главе. Черновики рассказов, написанные на узких листках бумаги через некоторое время после войны, свидетельствуют о замысле более масштабного произведения с более традиционным повествованием от третьего лица. Они показывают, что Бабель использовал только половину первоначальных планов. Но дело в том, что небольшое из отброшенного удовлетворило бы требования критиков ввести в книгу героев-коммунистов. Более «положительной» картине противоречили бы такие исключенные из «Конармии» рассказы, как «У батьки нашего Махно», где говорится об изнасиловании еврейской женщины, или «Их было девять», где описывается расстрел заключенных.

Почти половина рассказов «Конармии» были напечатаны в Одессе в течение 1923 года, практически в том же виде, в каком они были позднее переизданы в Москве, но к моменту выхода в 1926 году первого издания, когда Сталин уже покинул политику международной революции, идеал Ильи Брацлавского о синтезе Маймонида и Ленина, еврейской поэзии с коммунизмом можно было уже признать заблуждением. Книга заканчивалась рассказом «Сын рабби», в котором описывается смерть Брацлавского на забытой станции и происходит отождествление рассказчика с его идеалистической мечтой. Однако в то время уже нельзя было открыто говорить о тяжелых страданиях евреев – как при поляках, так и при большевиках, и многое приходилось прятать в подтексте или косвенных намеках. Например, порядок расположения глав заставляет усомниться в справедливости убийств и жестокостей, совершаемых во имя революции. В первом рассказе «Переход через Збруч» рассказчик поселяется в доме жертв погрома, делая вид, что не осознает своего родства со страдающими евреями. «Кладбище в Козине» занимает середину книги и описывает безымянные могилы многих поколений евреев – жертв казаков, от Богдана Хмельницкого до Буденного; рассказ заканчивается вопросом, который вторит беременной еврейке из «Перехода через Збруч»: почему смерть не пощадила евреев? Не случайно рассказ «Кладбище в Козине» расположен между двумя рассказами о злобной мести казаков. Однако права на отмщение у евреев обычно не было. «Кладбище в Козине» – это поэма в прозе о могилах неотомщенных еврейских жертв казацкого предшественника Буденного, того самого Хмельницкого, который зверски вырезал от 18 000 до 20 000 евреев.

Последний рассказ первого издания «Конармии», «Сын рабби», заканчивается смертью родного брата Лютова Ильи Брацлавского и поражением советских войск, что отражает отчаяние Лютова от невозможности воплощения в жизнь идеалов большевистской революции – и от собственной неспособности стать человеком действия, стать мужчиной. В 1933 году Бабель добавил в качестве новой концовки «Конармии» рассказ «Аргамак», тем самым покончив с диалектикой принятием Лютова казаками, но не раньше, чем он нажил себе новых врагов.

Лютов научился ездить с казаками, но не победил свое гуманистическое отвращение к убийству, как мы читаем в конце «Смерти Долгушова». В 1937 году появился еще один рассказ – «Поцелуй», представляющий собой новый, но столь же амбивалентный финал книги (так и не принятый самим Бабелем в прижизненных изданиях), в котором цикл завершился бы отходом советских войск за старую польскую границу, а также логическим разрешением конфликта первого рассказа цикла «Переход через Збруч». Любовная же интрига заканчивалась с поспешным отъездом рассказчика, который обещал перевести семью Елизаветы Алексеевой в Москву.

Поразительный взлет и страшное падение Бабеля

Во второй половине 1920-х годов Бабель был признан одним из самых талантливых молодых писателей в советской литературе – и в то же время его, наряду с другими «попутчиками», марксистские критики стали атаковать как враждебного революции, не познавшего принципы классовой борьбы. Публикация рассказов «Конармии» в журнале «Красная новь» в 1924 году вызвала упреки со стороны легендарного командующего Первой конной армией С. М. Буденного в статье «Бабизм Бабеля». Буденный и его армия обрели статус легенды как в ревизионистской историографии Октябрьской революции, так и в литературе. Его имя пригодилось в боевой кампании «Пролеткульта», а критики из левого журнала «На посту» жаждали крови «попутчиков»; критики пролетарских писателей из групп «Октябрь» и «Кузница» жестко осуждали любые попытки выразить художественную точку зрения, хоть в какой-то степени неоднозначную по отношению к большевистской революции.

С трибуны журнала «Октябрь» Буденный обрушился на описание Бабелем Первой конной армии как на клевету [Буденный 1924]⁵⁹. Чтобы дать удовлетворительную картину, гремел Буденный, автор должен быть марксистом и показать диалектику классовой борьбы. Бабель здесь назван «гражданином», а не «товарищем», и изображен как белогвардеец-буржуй, который «по природе своей» идеологически враждебен («будучи по природе мелкотравчатым и чуждым нам»), что, возможно, было лукавой ссылкой на еврейскую принадлежность Бабеля:

Гражданин Бабель рассказывает нам про Конную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет [Буденный 1924: 196].

⁵⁹ Статью для Буденного по инициативе Ворошилова написал С. Н. Орловский, первый секретарь Реввоенсовета Первой конной армии.



Илл. 5. Первая конная армия, 1920 год

В редакторском предисловии нападки Буденного названы «ценными», а также дается обещание, что за ними последует обсуждение всего творчества Бабеля – и это до того, как Бабель выпустил хоть одну книгу!

Естественно, Буденный вполне мог возмутиться, читая описания того, как армейские командиры, в том числе и он сам, с помощью силы и угроз предводительствуют недисциплинированной группой людей в буйстве, не имеющем четкого идеологического или военного направления. Грабежи, убийства, изнасилования, подробности нехватки боеприпасов и провианта, изображение невежественных, неграмотных казаков не могли понравиться человеку, который во главе казачьей армии прошел тысячу километров в борьбе с врагами большевизма и в 1935 году стал маршалом Советского Союза. Буденный занимал сторону Сталина в борьбе против Троцкого и Тухачевского и был заинтересован в том, чтобы снять со Сталина возможную ответственность за разгром, закончившийся победой поляков. К этому времени Сталин отказался от всемирной революции, и историю Первой конной армии пересматривали как триумфальное повествование о доблестных подвигах.

Вылазка Буденного усилила нападки «Октября» на беспартийную художественную литературу, в том числе на рассказы Бабеля, которые публиковались в ведущем литературном журнале «Красная новь». Эти нападки были направлены непосредственно против редактора журнала А. К. Воронского, старого большевика, ставшего объектом затяжной полемики, которая в 1927 году закончилась исключением его, уже больного и сломленного человека, из партии и ссылкой в Липецк. Бабель, не примкнувший ни к одному из лагерей и отнесенный критиками к «попутчикам», был скомпрометирован еще и тем, что опубликовал свои рассказы в «ЛЕФе» Маяковского – журнале футуристического Левого фронта искусств, позиция которого также подвергалась атакам со стороны «Октября» и ортодоксальных марксистских кри-

тиков⁶⁰. Как оказалось, нападки Буденного на Бабеля только подкрепили его популярность в Москве, поскольку его рассказы стали сенсацией.

В своем ответе Буденному⁶¹ Бабель подтвердил подлинность выдуманного им образа, сославшись на письмо С. Мельникова, одного из героев повести «История одной лошади», первоначально озаглавленной «Тимошенко и Мельников» – который, кстати, не только подтвердил слова Бабеля о событиях польско-советской кампании, но и посетовал на то, что Бабель не показал разграбление Ровно красными войсками, а также попытался исправить одну деталь в рассказе (из партии он не выходил)⁶². Бабель бесхитростно извинился за то, что оставил настоящие имена своих героев без изменений, и действительно изменил эти и некоторые другие имена для полной публикации книги. Готовя к печати первое издание «Конармии», Бабель сообщил своему редактору в Госиздате Д. А. Фурманову, автору эпопеи о Гражданской войне «Чапаев» и наиболее активному участнику РАПП⁶³, что не знает, как заменить «“обвиняемые” фразы», после чего заверил его: «Никто за это к нам не придерется. Опасные места я выбросил даже сверх нормы» (письмо Д. А. Фурманову, 4 февраля 1926 года. Собрание сочинений, 4: 50)⁶⁴. Сопротивление Бабеля политической цензуре с помощью притворной наивности и ухищрений оказалось не вполне успешным, и последующие издания «Конармии» подверглись сокращениям и ревизиям. Нападки Буденного на «Конармию» не были забыты, и Горький в 1928 году, в период обострения конфликта между идеологией и искусством, был вынужден вновь выступить в защиту Бабеля [Горький 1928в]. Буденный повторил свою атаку на якобы порнографическую клевету Бабеля, обвинив автора в том, что тот был всего лишь в тылу Первой конной армии. В ответ Горький похвалил изображение казаков в «Конармии», так как Бабель «украсил» казаков Первой конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Нападки на Бабеля, писал Горький, еще не переселившийся в Россию, были необоснованными, а его бесспорный художественный талант полезен для марксистского дела [Горький 1928б]⁶⁵. Считается, что дискуссию прекратил лично Сталин, но она возобновлялась всякий раз, когда имя Бабеля всплывало в советской прессе.

В Москве в середине 1920-х годов происходил переход от относительной свободы к острым идеологическим столкновениям. В 1924 году умер Ленин, его сменил Сталин. В коротком произведении о мятеже на борту иностранного корабля «Ты проморгал, капитан!», датированном днем похорон Ленина, Бабель использовал для политического утверждения стилистические контрасты, но это был слабый материал, и Бабель ничего не сделал, чтобы смягчить двусмысленность позиции повествователя в рассказах «Конармии». В литературных журналах разгорелась полемика о том, должно ли некритическое изображение большевистской революции быть единственным мерилем оценки писателей, и 29 ноября 1924 года рассказы «Конармии» стали предметом публичной дискуссии, организованной газетой «Вечерняя Москва». В. Г. Вешнев в статье «Молодая гвардия» посетовал на то, что Бабель и другие «попутчики» подвергают Октябрьскую революцию моральному осуждению, а не поддерживают. Результат такой независимости мнения и настойчивого стремления к свободе писателя Вешнев отчетливо увидел в поэтизированном изображении Бабелем одесских бандитов и казаков [Вешнев 1924]. Аналогичным образом критик Г. Е. Горбачев, сравнивая Бабеля с Гейне и высоко

⁶⁰ О месте «Конармии» в борьбе за литературную свободу см. [Белая 1989а].

⁶¹ Письмо в редакцию // Октябрь. 1924. № 4. С. 228.

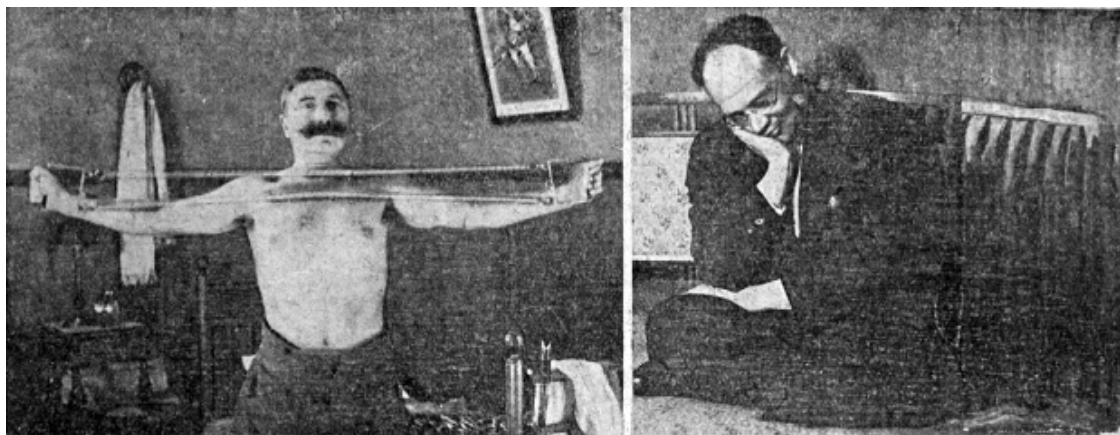
⁶² Письмо редактору «Красной нови», 4 июля 1924 года. РГАЛИ. Ф. 602. Оп. 1. Д. 1718.

⁶³ Российская ассоциация пролетарских писателей, оформилась в январе 1925 года как основной отряд Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), которая существовала с 1924-го и теоретическим органом которой был журнал «На посту».

⁶⁴ Об отношениях Бабеля с Фурмановым см. [Куванова 1965].

⁶⁵ В рукописи письма в архиве Горького гораздо более острый язык, но издатели «Правды» убедили Горького смягчить тон. См. письмо от 29 ноября 1928 года Анне Слоним (Собрание сочинений, 4: 255).

оценивая его новаторский вклад в русскую литературу, тем не менее утверждал, что романтизм Бабеля неприемлем в нынешнее революционное время. Он назвал Бабеля циничным эстетом, который поддержал красных, а не белых, исходя из личных выгод [Горбачев 1925]. Попытки менее буквалистски настроенных критиков доказать, что Бабель использовал художественные приемы для проникновения в глубинные истины и что взгляд отчужденного интеллигента Лютова можно воспринимать как идеологическое утверждение не в большей степени, чем образы казаков в сказах, вызывали лишь раздражение тех критиков, которые не терпели гуманитарную интеллигенцию [Лежнев 1925; Лежнев 1926]. Недаром Горький жаловался, что Бабеля плохо прочли и не поняли [Горький 1963а]⁶⁶.



Илл. 6. Шуточный комментарий к газетной полемике между Буденным и Горьким в журнале «Чудак», 1 декабря 1928 года. Фото из журнала «Чудак», № 1 за 1928 год. С. 14

Несмотря на славу и известность, которые принесли ему «Конармия» и «Одесские рассказы», Бабеля отталкивали низкие литературные стандарты, вульгарный материализм, растущее ограничение творческой свободы, и он избегал литературных кругов. В письме от 12 мая 1925 года к сестре за границу он жаловался:

Душевное состояние оставляет желать лучшего – меня, как и всех людей моей профессии, угнетают специфические условия работы в Москве, то есть кипение в гнусной, профессиональной среде, лишенной искусства и свободы творчества, теперь, когда я хожу в генералах, это чувствуется сильнее, чем раньше (Собрание сочинений, 4: 22).

«Попутчики» подвергались нападкам, и Бабель был в числе тех, кто обратился в ЦК с просьбой прекратить кампанию против них. Однако постановление 1925 года объявило о нейтралитете партии на литературном фронте, и истерическая кампания против «попутчиков» усилилась, в результате чего к концу десятилетия верх взяла пролетарская фракция РАПП. Хотя Бабель мог бы вписаться в художественную литературу о Гражданской войне, как Фадеев с «Разгромом» или Леонов, изобразивший преступный мир в «Воре», фактически он выделялся как диссонирующий голос к концу НЭПа, когда от писателей требовалось направить свои перья на строительство социализма.

⁶⁶ Вишневский написал «Оптимистическую трагедию», пьесу о Первой конной армии Буденного.

Возвращение к еврейскому детству в Одессе

Вопреки ожиданиям приверженцев идеологии, требующих от писателей сосредоточиться на Октябрьской революции и строительстве социализма, Бабель вернулся в свое одесское детство и проследил жизнь еврейского интеллигента до и после октября 1917 года. Это был цикл рассказов «История моей голубятни», в котором одесский еврейский рассказчик проходит через художественное осознание – в «Пробуждении» и «Ди Грассо», литературное ученичество – в «Гюи де Мопассане» и Октябрьскую революцию – в «Дороге». Хотя рассказ «Дорога» (переработанный вариант «Вечера у императрицы») был начат в начале 1920-х годов, идеологическое давление сталинской диктатуры заметно в шаблонном финале, когда рассказчик достигает цели своего трудного путешествия (которое является скорее уроками антисемитизма, чем идеологии) и вступает в ЧК, радуясь товариществу и счастью. Однако в «Дороге» не обходится без иронии в отношении того, что ранее преследовавшийся еврей примеряет на себя одеяние русской царской семьи. Получивший новые права и возможности, еврей-жертва, ставший победителем, может в буквальном смысле облачиться во власть своих бывших мучителей.

Цикл «История моей голубятни» не понравился бы идеологам, требующим рассказов о современной России: ведь он не только возвращает к дореволюционному прошлому без корректного политического пересмотра истории, но и пересматривает еврейскую культурную идентичность с оглядкой на погромы. По сути, Бабель подвергает пересмотру трактовку темы еврейского детства в современной ивритской и идишской литературе, в которой патриархальная семья и традиционное обучение в хедере сдерживают ребенка, стремящегося вырваться в языческий мир природы и светской культуры [Luplow 1984; Bar-Yosef 1986]. В автобиографиях и мемуарах поколения Бабеля «культура» – это неизменно русская культура, культура Пушкина, Достоевского, Толстого, и она отождествляется с современностью и революцией. Не зря историк Юрий Слезкин озаглавил свой коллективный портрет революционного поколения «Первая любовь Бабеля» [Слезкин 2005: 143–265].

Первую попытку литературных воспоминаний Бабеля о еврейском детстве в Одессе фактически можно обнаружить в его рассказе 1915 года «Детство. У бабушки», который демонстрирует жесткое противоречие между напряженной, удушливой атмосферой замкнутого еврейского мира и совершенно чужой Россией тургеневской «Первой любви». Страстная чувственность и жестокое насилие тургеневского вымышленного мира вторгаются в еврейский дом, когда отец Владимира ударяет Зинаиду по голой руке хлыстом (глава 21) и перед наблюдающим мальчиком открывается скрытая сторона человеческой любви. В оригинальном тургеневском тексте мальчику позже снится, что отец бьет Зинаиду по лбу, но у Бабеля отец бьет девушку по щеке.

Я слышал свист хлыста, его гибкое кожаное тело остро, больно, мгновенно впивалось в меня. Меня охватывало неизъяснимое волнение. На этом месте я должен был бросить чтение, пройтись по комнате. <...> Темнеющая комната, желтые глаза бабушки, ее фигурка, закутанная в шаль, скрюченная и молчащая в углу, жаркий воздух, закрытая дверь, и удар хлыстом, и этот пронзительный свист – только теперь я понимаю, как это было странно, как много означало для меня (Детство 31–32).

Мальчик чувствует боль от режущего его кнута, статус жертвы при этом переносится с хозяйки на еврейского мальчика, и, задыхаясь от жары в тесной, темной комнате, он сразу же застывает от этого необычного ощущения, больше всего на свете желая убежать и никогда не возвращаться. Бабушка ничего не понимает – она не читает по-русски и надеется, что мальчик станет богатырем, возможно потому, что смешивает слово «богатырь» с «бога-

чом» (на идише: «гвир») (Детство: 31). Она убеждает мальчика в необходимости «все знать», потому что, будучи сама неграмотной, видит в знании залог социальной мобильности и успеха. Мальчик глубоко переживает эротическую силу своего чтения, бессознательно интериоризируя реальное насилие погромов и преследований, но также проецируя на себя бессилие и пассивность заключенного в удушающее ментальное гетто еврейского дома среднего класса, которое требовало интеллектуальной или деловой хватки, а не физических достижений.

Переживание литературного текста предполагает культурную идентификацию, которая была характерна для восходящих, аккультурированных российских евреев. Перформативная роль литературного текста может стать своеобразной инициацией или проверкой культурной идентичности; как правило, это касается стихов русского национального поэта Пушкина. Как показывает Слезкин, среди ассимилированных евреев среднего класса приобретение русской культуры являлось входным билетом в русское общество, несмотря на дискриминацию царского режима и погромы 1881 и 1904–1905 годов [Слезкин 2005: 171–192]⁶⁷. Вспомните мальчика из «Истории моей голубятни», «навзрыд» декламирующего Пушкина на вступительном экзамене в гимназию (Детство: 47). Русские евреи, стремившиеся влиться в русское общество, таким способом приобретали культурное и общественное признание, поэтому чтение русских классиков уподоблялось ритуалу инициации (наподобие ритуала *бар-мицва*) на пути к культурной зрелости. Однако вхождение в русское общество не проходит легко.

Поступление мальчика в гимназию празднуется как победа евреев, Давида над Голиафом, но голубей, которых мальчик заработал успешной сдачей экзаменов, у него отбирает во время погрома калека Макаренко. Нельзя не заметить, что на руке Макаренко – следы проказы, а голуби считались древним средством от этой болезни. Голубь, конечно же, является жертвенной птицей в храмовом ритуале, предписанном еврейской Библией, и когда внутренности птицы раздавливаются о лицо мальчика, он проходит обряд посвящения, открывающий ему глаза на жестокий взрослый мир насилия и антисемитизма. Катерина, жена калеки, яростно ругает еврейских мужчин и их вонючее семя, так что инициация мальчика – это не только пробуждение его оскорбленной сексуальности как обрезанного еврея, но и, как ни странно, обретение возможности видеть мир таким, каков он есть на самом деле, во всей его жестокости:

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездил беда на хромой и бодрой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, и цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, я шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных

⁶⁷ См. также [Senderovich 2022].

чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь (Детство: 45–46).

Ксенофобный стереотип выхожденного еврея как бы подчеркивается тем, что его дядю Шойла, торгующего на Рыбной улице, находят убитым с рыбой во рту и еще одной, торчащей из штанов (Детство: 47). Вспоминается и умирающий Илья Брацлавский со спущенными штанами: «Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита» (Детство: 229). Интернализация выхожденности маркирует русского еврея как сексуально неполноценного, а отстранение повествовательного взгляда в рассказах «История моей голубятни» и «Первая любовь» делает опыт инаковости эстетическим.

Посвящая «Историю моей голубятни» Горькому, покровителю русских писателей и защитнику евреев в царское время, Бабель пытается разрешить противоречие между желаемой идентичностью начинающего русского писателя и реальностью погромов, в которых он как еврей сам является жертвой. Как Бабель якобы сказал Паустовскому:

– Я не выбирал себе национальности. <...> Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму – причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом [Паустовский 1960: 151–152].

И действительно, только после того, как мы поняли, что значит антисемитское насилие для ошеломленного еврейского мальчика, «История моей голубятни» заканчивается этим банальным, хорошо знакомым словом – погром.

Можно задаться вопросом, как такой опыт антисемитизма сочетается со стремлением к русской культурной идентичности. В «Первой любви», которую планировалось опубликовать вместе с «Историей моей голубятни» (письмо к Горькому, 25 июня 1925 года, Собрание сочинений, 4: 32), мы наблюдаем за событиями погрома в Николаеве и его последствиями через тот же текст, который мальчик читал бабушке в произведении «Детство. У бабушки». Название рассказа иронически отсылает к повести Тургенева, и мальчик вновь сталкивается с жестокой чувственностью тургеневского русского мира, на этот раз в своем увлечении Г. А. Рубцовой, женой русского офицера, приютившей семью во время погрома (возможно, семья Рубцовых действительно приютила Бабелей, которые во время погрома не пострадали) [Погорельская, Левин 2020: 30–34]⁶⁸. Чтобы завоевать ее любовь, он воображает, что состоит, как сын торговца углем Мирон, в еврейских отрядах самообороны, вооруженный винтовкой, и сражается во время погрома с мародерами. Однако его собственное еврейское тело слабо и невротично, от долгой учебы он страдает мигренью. Загрязненный и оскверненный стекающими по нему внутренностями мертвой птицы, мальчик воплощает эротическую фантазию. Галина моет его, потом целует в губы и обещает своему «маленькому раввину», что он будет женихом (что иронически напоминает Лопухина из «Вишневого сада»):

Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. В ликующих ее глазах я видел удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках

⁶⁸ Как отмечают Погорельская и Левин, Бабель изменял исторические факты и даты.

и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья (Детство: 49).

Сексуальная фантазия о сладострастной русской женщине в откровенном экзотическом платье проецирует самоуничтожение мальчика в его восприятии своего еврейства и актуализирует напряжение между бесстрастным героизмом казаков, скачущих в воображаемое ущелье, и деградацией собственного отца, стоящего на коленях в грязи (в отличие от сильного и мужественного отца мальчика в повести Тургенева). В первой публикации «Первой любви» к отцу рассказчика обращаются как к Бабелю, что обостряет личностный кризис и подчеркивает отчужденность мальчика от своей личности. Травматические события этого дня (описанные в предыдущем рассказе, «История моей голубятни») преждевременно превратили его из непонятливого мальчика в неловкого подростка, плавающего в собственной блевотине, которую он бессовестно извергает перед Галиной, сиюсь удерживать свою фантазийную власть над этой зрелой женщиной в китайских шелках. Вступление мальчика во взрослую жизнь – это глубоко еврейский опыт насилия, связанный с притягательностью языческой власти и сексуальности. Эротическая сила угрожающего насилия проявляется в увлечении мальчика запретным, сексуализированным объектом желания, оторванным от отца, который барахтается в грязи, унижаясь перед казацким всадником.

Именно его портрет (его еврейское «я») был выброшен из разграбленной лавки. Мальчик, кажется, может стать мужчиной только в том случае, если преодолеет свой еврейский недостаток мужественности – физическое испытание, еще более трудное, чем вступительный экзамен в российскую гимназию. Во взгляде Галины на мужа, вернувшегося с Русско-японской войны, мальчик открывает для себя постыдное знание о сексуальности. Это знание лишает его дара речи и доводит до икоты – врач утверждает, что эта болезнь «случается у одних евреев и среди евреев она бывает только у женщин». Эта концовка приписывает причину раннего угасания рассказчика антисемитскому насилию: «начало недугов, терзающих меня, и причины раннего, ужасного моего увядания» (Детство: 57). В последующих изданиях эта фраза была убрана, видимо, чтобы не создавалось впечатление, будто антисемитские беды царского времени продолжались и после революции – как это и было на самом деле.

Парадоксальное соединение и чередование русской и еврейской идентичностей, неизменно завораживающее Бабеля, скрывало под собой конфликтное «я», стыдящееся еврейской физической и социальной неполноценности [Gilman 1991]. Поэтому не стоит удивляться тому, что властную мужественность казаков из «Конармии» разделяют одесские бандиты. В отличие от интеллигента с очками, заикающегося за столом, о котором рассказывает Арье-Лейб в одесском рассказе «Как это делалось в Одессе», Бенья Крик – человек действия, который знает, что делать:

Так вот – забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге.

Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях – и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на

месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане (Детство: 246).

Еврейский интеллектual в очках вполне мог бы позавидовать людям действия. Восприятие еврейского недостатка мужества исторически можно рассматривать с учетом послереволюционной перспективы тех евреев, которые возлагали свои надежды на новый общественный строй – на идеологию, обещавшую социальную справедливость и освобождение от «еврейской судьбы».

Предыдущее поколение обратилось к социализму, выучив русский язык и открыв для себя науку и литературу, но мальчик в «Пробуждении» «пробуждается» к природе и к своему стыду за слабость еврейского тела. Это безнадежная борьба между еврейским наследием – требованием учиться и прославиться – и морем, где мальчишки целыми днями бегают голыми. Смолич, приютивший еврейских слабаков из бараков Молдаванки, – бронзовый бог, приобщающий мальчика к красоте русской природы. Ведь для того, чтобы следовать литературным примерам Тургенева и Дюма (которых он тайно читает, пряча за своими нотами), нужно отречься от еврейской судьбы. Но тогда он – мечтательный, лживый мальчик, который никогда не преодолеет водобоязнь франкфуртских раввинов и еврейские неврозы. Отец мальчика, к сожалению, охвачен иллюзией богатства и социального статуса, запретного для евреев, и полностью полагается на виртуозность мальчика, чтобы вырваться из безысходной нищеты и кровавых гонений на еврейскую семью в России.

Голод или удушье?

Пока Бабель в Москве пытался утвердиться как писатель, рушилась его семейная жизнь. После смерти отца в марте 1924 году Бабель был обременен обязанностями кормильца, что еще больше мешало ему сосредоточиться на писательской деятельности. В феврале 1925 года его сестра Мария вместе с мужем Григорием Шапошниковым эмигрировала в Бельгию, а в июле следующего года к ним присоединилась мать, после того как стало ясно, что Мария не хочет возвращаться в Россию – для поездки она в любом случае была слишком больна. Жена Бабеля Евгения (Женя), художница, летом 1925 года одна уехала в Париж, хотя Бабель изначально планировал, что они отправятся туда вместе. Отъезд Бабеля за границу задержала смерть его тестя, Бориса Вениаминовича, которая потребовала его присутствия в Киеве для решения сложных юридических вопросов. Было решено, что Бабель возьмет с собой за границу мать Жени – Берту Давыдовну, которая перешла из одной крайности в другую, сначала держась с ним холодно, а потом обожая своего знаменитого зятя. Однако время с 1927 по 1928 год, проведенное Бабелем за границей, не решило его проблем – ни творческих, ни семейных. Надежды на то, что брат Жени Лев, богатый американский финансист, приедет и заберет старуху, не оправдались, и она осталась обузой, истощающей их финансовые и эмоциональные ресурсы. К тому же Женины картины не приносили стабильного дохода, чтобы содержать их всех. Неоднократно умолявший семью вернуться к нему в Россию Бабель, вероятно, был прав, когда уверял их, что материальные условия жизни в Союзе – медицинское обслуживание, образование, питание – лучше, чем те, которые они могли себе позволить в Европе, особенно после краха на Уолл-стрит в 1929 году и последовавшей за ним депрессии. Но тогда он занимал привилегированное положение и имел доступ к роскоши, закрытой для рядового советского гражданина.



Илл. 7. Бабель с сестрой Марией в Бельгии, 1928 год

Конечно, тех рублей, которые он зарабатывал в Советском Союзе, в Брюсселе и Париже, едва хватало на самое необходимое, что делало борьбу за сбор денег и их получение за рубежом не только напряженной, но порой и бесполезной.

Оказалось, что условия работы на капиталистическом Западе благоприятствовали кропотливым и медленным творческим методам Бабеля не больше, чем идеологическое давление советских редакторов и критиков. Переговоры с американскими театрами ни к чему не привели, а единственный известный нам проект, которым Бабель занимался во время своего второго визита в Париж в 1932–1933 годах, также провалился. Это был сценарий фильма о жизни террориста и двойного агента Евно Азефа, запланированный для режиссера А. М. Грановского, с которым Бабель работал над фильмом 1925 года по рассказам Шолом-Алейхема о Менахем-Менделе «Еврейское счастье». Бабель понял, что эта задача отнимает больше времени, чем планировалось; кроме того, работа с политическими эмигрантами, такими как бывший меньшевик и критик советской власти Б. И. Николаевский, исторический консультант фильма, была

нецелесообразна для советского гражданина, желающего вернуться в Россию. Тем временем по Москве поползли неприятные слухи о том, что Бабель может не вернуться.

Переписка Бабеля показывает, что ему не удалось освоиться в качестве независимого профессионального писателя за границей, как, например, В. В. Набокову. В выступлениях перед советской аудиторией в 1933 году Бабель выразил свой взгляд на жалкую пустоту и нищету эмигрантской жизни, и хотя он выделил Набокова как одного из немногих успешных русских писателей-эмигрантов, он не нашел в прозе последнего ничего ценного: «Писать умеет, только писать ему не о чем»⁶⁹.



Илл. 8. Бабель и Женья, Идельсбад, Бельгия. 1928 год

В серии парижских рассказов, написанных Бабелем (из которых до нас дошли два, «Улица Данте» и «Суд»), пристально рассматривается маргинальная жизнь эмигрантов, гнусные интриги и скандалы, причем больший интерес они представляют как виньетки на эротические темы. Бабель, похоже, не особо интересовался жизнью русской эмиграции. Его русские публикации за границей в 1920-е годы ограничивались изданиями рассказов, опубликованных в Москве (хотя французские переводы его произведений пользовались большим успехом).

В отличие от русских эмигрантов, Бабель никогда не смог бы смириться с работой парижским таксистом или галантерейщиком. Бабель жил в долгах, временами без гроша в кармане, и его доходы зависели от гонораров в Советской России. Он ценил личную свободу, предлагаемую Западом, но Париж, при всей своей веселости, стал провинциальным, в нем не было той широты идей, к которой он привык в России⁷⁰. Вернувшись осенью 1928 года в Россию, чтобы разобраться с Жениным наследством и другими неупорядоченными делами, он заявил, что в Париже чувствовал себя не совсем самим собой. Он писал, что вполне готов поехать за границу, но работать он все равно должен в России:

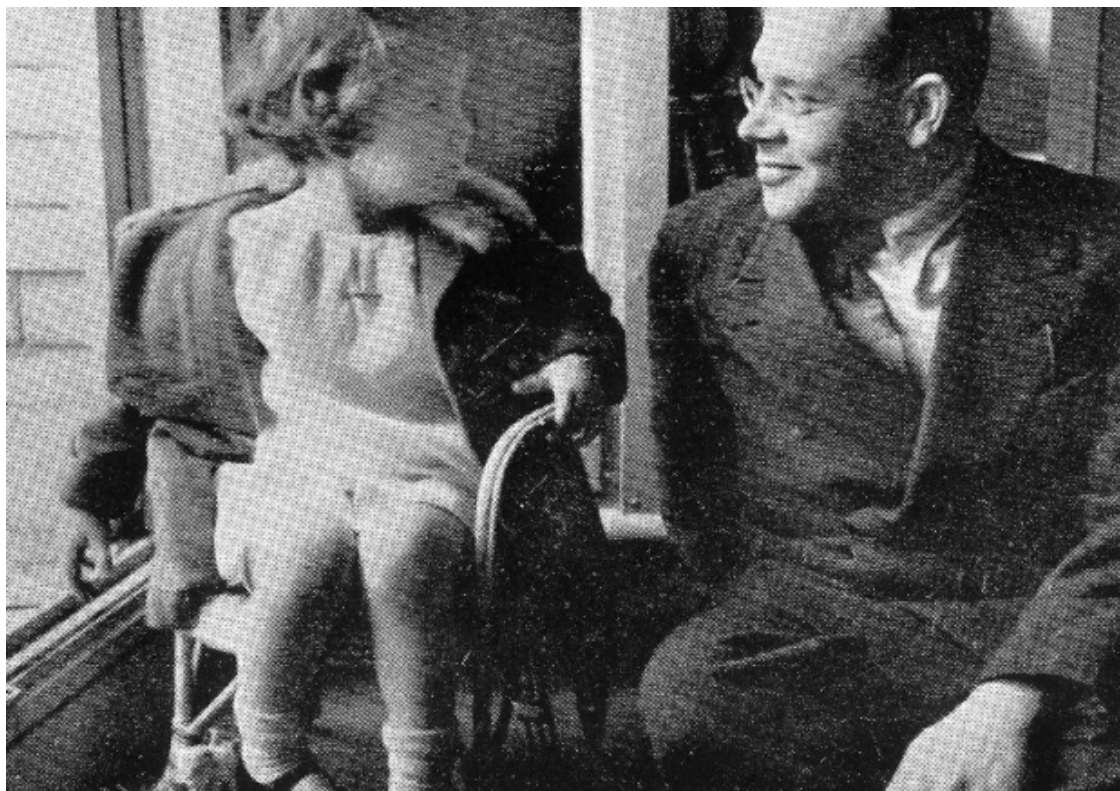
Несмотря на все хлопоты – чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно – но это мой материал, мой язык, мои интересы.

⁶⁹ ИМЛИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 6.

⁷⁰ Письмо к Исаяе Лившицу 10 января 1928 года [Погорельская 2007: 28].

И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь (письмо к матери, 20 октября 1928 года. Собрание сочинений, 4: 244).

Письма последующих лет свидетельствуют о невероятном интересе, который вызывали у Бабеля огромные перемены в Советском Союзе. Даже принимая во внимание тот факт, что письма за границу писались с расчетом на цензуру, нельзя не увидеть в них искреннего энтузиазма по поводу нового общества, которое приходило на смену феодальной царской России, где еврей не мог быть равноправным гражданином. Изнурительные поездки Бабеля в последующие месяцы и годы в колхозы, на заводы в Днепропетровске, в еврейские колхозы и (несмотря на хроническую астму) на рудники, несомненно, были не просто ответом на призыв к писателям вступить в ряды строителей социализма, а искренним стремлением понять поразительную трансформацию советского общества и ту ужасную цену, которую оно за это платит. К сожалению, приближалось время, когда преданность партии должна была стать полной, и писатели больше не могли публиковаться за границей или делить свою жизнь между Парижем и Москвой. Привилегии советского писателя покупались ценой личного выбора. С течением времени конформизм требовал все больших компромиссов.

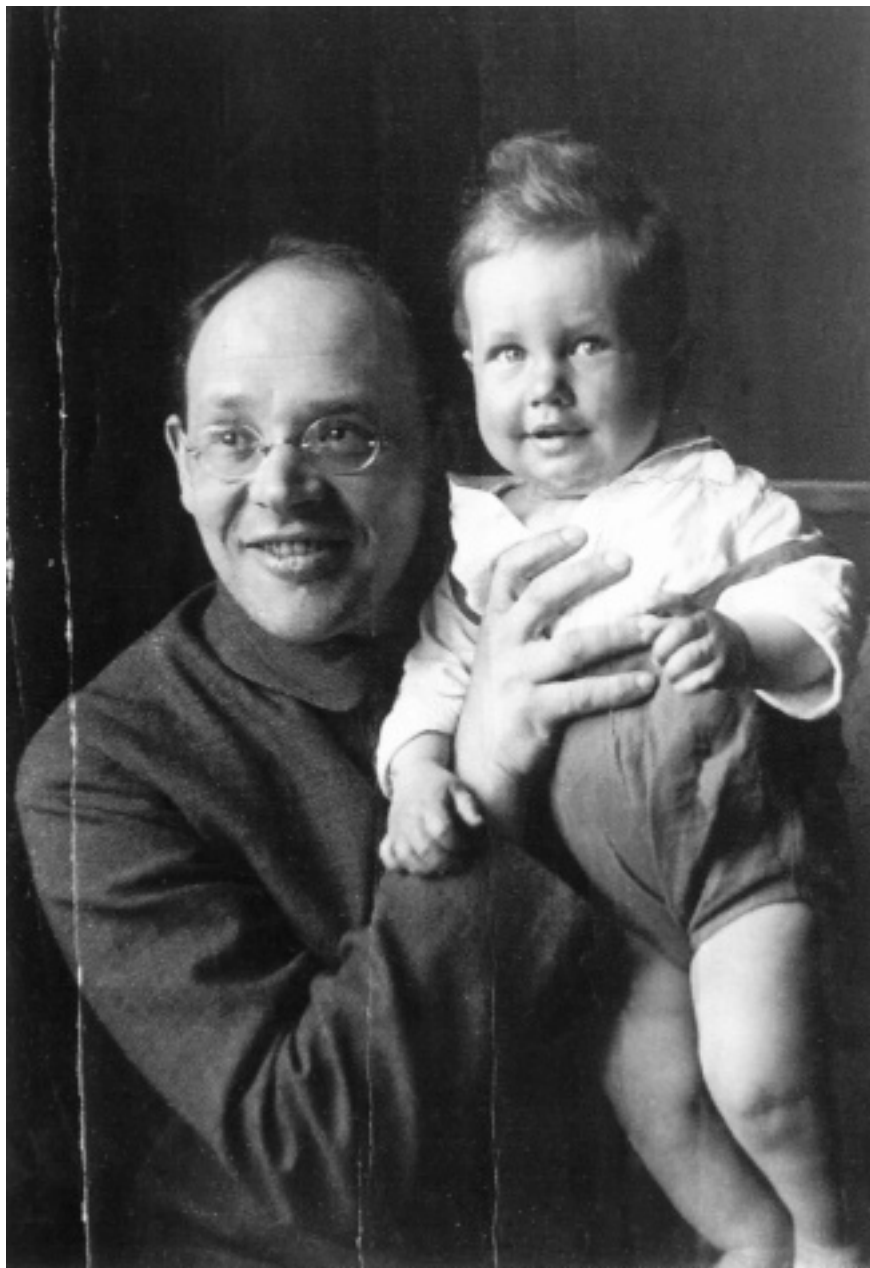


Илл. 9. Бабель и Натали. 1933 год

В июле 1929 года у Жени родилась дочь Натали, которую Бабель хотел назвать более еврейским именем Юдифь, и появление этой «Махно», как Бабель называл внезапно обрушившегося на него отпрыска, стало дополнительным стимулом для попытки воссоединения семьи в России, о чем свидетельствует его заявление на предоставление писательской квартиры для себя и своей семьи в Москве от 19 января 1930 года⁷¹. Бабель вернулся в Россию один,

⁷¹ ИМЛИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 8.

якобы потому, что Жене пришлось присматривать за матерью в Париже после отъезда брата в Америку. Чтобы убедить свою семью воссоединиться с ним в России, Бабель заверил их, что готов начать семейную жизнь и что с прошлым покончено; это была ссылка на его отношения в Москве, с апреля 1925 года, с русской актрисой Т. В. Кашириной, у которой был от него сын Михаил, позже усыновленный человеком, за которого Каширина выйдет замуж в 1929 году, известным писателем Всеволодом Ивановым⁷².



Илл. 10. Бабель и его сын Михаил. 1927 год

Следующая поездка за границу в 1932–1933 годах была разрешена только после долгих усилий и личных обращений к Кагановичу, а также вмешательства Горького. Но воссоединить семью Бабелю все же не удалось, и в письмах к родным он часто жаловался, что эмоциональное напряжение разлуки, не говоря уже о постоянном состоянии тревоги матери и сестры, ска-

⁷² См. [Иванова 1987: 271–301; Иванова 1992; Погорельская, Левин 2020: 245–250].

зывается на его работе и нервах. Это стремление к стабильности и постоянная потребность в душевном покое для того, чтобы писать, несомненно, были мотивами его решения создать новую семью.

В 1932 году, перед отъездом в Париж, Бабель познакомился с инженером московского метрополитена А. Н. Пирожковой, и в 1934 году она поселилась у него. В 1937 году у них родилась дочь Лидия. Любопытно, что в опубликованных письмах Бабеля к родным за границу о них нет ни одного упоминания. Разрозненность его жизни делает загадку Бабеля еще более интригующей. Сам он любил довольно пикантно – и совершенно безосновательно – представлять Антонину Николаевну как дочь сибирского священника. Бабеля просто забавляла сама идея совместного проживания еврея и дочери священника:

Узнав, что мой отец рано осиротел и был взят в дом священника, где воспитывался от 13 до 17 лет, он тотчас же переделал моего отца в попа и всем рассказывал, что женился на поповской дочке, что поп приезжает к нему в гости и они пьют из самовара чай. Все это Бабель обращал в уморительные сценки, а меня называл «поповной». Паустовский долгое время был убежден, что это – правда. Однако мой отец умер в 1923 году, то есть задолго до того, как я познакомилась с Бабелем, и никогда не имел никакого отношения к церкви. Но Бабеля это не остановило. Ему нравилась сама ситуация – еврей и поп [Пирожкова 2013: 263].

Время, проведенное на конезаводе в Хреновом Воронежской области летом 1926 и весной 1929 года или в деревне Молоденово в 20 километрах от Москвы в 1930–1932 годах, научило Бабеля тому, что только тишина и покой вкупе со свободой от финансовых и душевных тревог могут дать ему возможность сосредоточиться на творчестве. Захватывающий природный ландшафт снижал этой местности репутацию русской Швейцарии, и именно в этой пасторальной обстановке Бабель мог отдохнуть от московских забот и хлопот. Молоденово было идеальным убежищем, до которого нелегко было добраться во время зимних метелей или весенних паводков, но при этом оно оставалось в пределах досягаемости для посылок тети Кати с провизией и другими полезными вещами. Когда реки не разливались, Бабель мог спокойно провести несколько дней в московских государственных учреждениях и редакторских конторах или у друзей. Молоденово было удобно еще и тем, что неподалеку стоял дом Горького, с которым Бабель сдружился еще в Сорренто.



Илл. 11. Молоденово, 1931 год

Разочарование Бабеля из-за терний на пути становления полностью независимым профессиональным писателем усиливалось необходимостью выполнять подработки и выторговывать у редакторов авансы за неоконченные или не подлежащие публикации рассказы. Приходилось придерживаться идеологически правильного поведения, чтобы получить разрешение на выезд за границу, а также деньги на жизнь и семью. В сочетании с астматическими заболеваниями и дорогостоящим лечением зубов это мешало писательскому развитию и ставило его на своего рода беговую дорожку, с которой он, казалось, никогда не сможет сойти, поскольку отказывался и от массового производства материалов на заказ и от кропотливого писательского мастерства. В. П. Полонскому, редактору «Нового мира», он писал:

Несмотря на безобразные мои денежные обстоятельства, несмотря на запутанные мои личные дела, я ни на йоту не изменю принятую мною систему работы, ни на один час искусственно и насильно не ускорю ее. Не для того стараюсь я переиначить душу мою и мысли, не для того сижу я на отшибе, молчу, тружусь, пытаюсь очиститься духовно и литературно, – не для того затеял я все это, чтобы предать себя во имя временных и не бог весть каких важных интересов (письмо от 31 июля 1928 года из Идельсбада, Бельгия. Собрание сочинений, 4: 231).

Ситуацию ухудшала катастрофическая щедрость Бабеля, из-за которой он стал легкой добычей своих бедствующих родственников, чьи настойчивые просьбы о помощи мешали его работе и отвлекали необходимые финансовые средства.

Тем временем Бабель раскрывался как драматург. Написанная в 1925–1926 годах, в период расцвета его романа с Тamarой Кашириной, пьеса о падении Менделя Крика и возвышении его сына Бени «Закат» (1928) аллегоризирует закат русского еврейства, которое не может противостоять неизбежным историческим переменам. Пьеса не была понята критикой, которая обрушилась на нее как на анахронизм. Действие ее происходит в 1913 году в Одессе – ушедшем еврейском мире; поэтому неудивительно, что пьеса провалилась на московской сцене

в то время, когда критики требовали описаний строящегося социализма. Это не удержало Бабеля от дальнейших попыток писать пьесы. В 1935 году его пьесу «Мария», часть задуманной трилогии о Гражданской войне, завернули во время репетиций в Вахтанговском и Еврейском театрах Москвы, хотя она и успела появиться в печати. Помимо гоголевской по духу комедии о сошедшем с ума городе и пьесы о герое Гражданской войны Г. И. Котовском, которого он знал, Бабель приступил к работе над продолжением «Марии» под названием «Чекисты». Однако, как заключает С. Н. Поварцов на основании дневниковых записей Фурманова о встречах с Бабелем в 1925–1926 годах и интервью с современниками Бабеля, это была не пьеса, а роман, отрывки из которого Бабель читал на одной из частных встреч в 1937 году. Как отмечает Поварцов, с 1930 года тема ЧК была для писателей запретной, но это, видимо, не останавливало Бабеля даже в разгар чисток [Поварцов 1996: 2–22]⁷³.

Борьба за более насыщенную и скупую прозу прослеживается и в романе «Великая Криница», действие которого происходит в период сталинского «великого перелома» и насильственной коллективизации, приведшей к гибели от голода или депортации миллионов крестьян. Кроме того, ускоренная индустриализация (процесс форсированного наращивания промышленного потенциала СССР, осуществлявшийся с мая 1929 года) опиралась на «стахановцев», которых поощряли к перевыполнению норм. При этом от писателей ожидали радужной картины советских заводов и колхозов. Судя по двум сохранившимся главам «Великой Криницы» и анонсам предстоящих рассказов в советской прессе, Бабель, по-видимому, задумывал книгу слабо связанных между собой рассказов по типу «Конармии». Здесь нет отчужденного интеллигента, раздираемого кризисом идентичности, и зачастую исчезает яркая образность «Конармии». Скучная проза нагнетает ужас сплошной коллективизации, который становится еще более шокирующим из-за отсутствия каких-либо оправданий или комментариев (как мы увидим в седьмой главе).

Другой рассказ о трансформациях СССР, который западные критики часто воспринимают как рабелепный конформизм, – это «Нефть», впервые опубликованная в 1934 году. История рассказана в форме письма женщины, Клавдии, работающей в нефтедобывающей отрасли, которая отмечает невысказанные планы и репрессии специалистов по планированию и производству (эта отсылка позже удалена цензурой). Клавдия сообщает:

К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее (Собрание сочинений, 3: 130–131).

⁷³ Пьеса о Котовском была написана в 1937 году (см. записку Бабеля Исае Лившицу, дающую ему право забрать гонорар, от 17 мая 1937 года [Погорельская 2007: 99]). Друг Бабеля Т. Стах вспоминает, что Бабель работал над романом о ростовском ЧК, когда его арестовали [Стах 2004]. Пирожкова, однако, не вспоминает, что Бабель работал над романом о ЧК в период их совместной жизни, но предполагает, что работа велась в 1925 году. См. [Пирожкова 2013: 579].

Несмотря на такие завышенные требования партии и угрозы неприятностей, Клавдия не отступает от защиты более реальных целей производства. Однако она не теряет энтузиазма по поводу масштабности предстоящей задачи, продолжая восхищаться рождением новых взглядов на жизнь, а также Москвой как огромной строительной площадкой.

Цена молчания

Опасность политических обвинений нависла над Бабелем задолго до сталинских чисток 1937 года – в тот момент, когда из-за него публично поссорились Буденный и Горький. Если первоначальная атака Буденного лишь позабавила Бабея и увеличила продажи «Конармии», то теперь на вопрос о лояльности Бабея, казалось, отвечала его неспособность создать идеологически подходящий материал. Опасность, в которой оказался Бабель, осознал и Горький, выступивший в 1928–1929 годах в защиту подвергшихся линчеванию писателей и еврейских авторов. Горький попытался сгладить некоторые пагубные идеологические последствия творчества Бабея, утверждая, что нельзя из идеологических соображений игнорировать художественную ценность [Горький 1928а; Горький 1929: 2].

В 1929 году дело Замятина и Пильняка продемонстрировало отсутствие в Советской России творческой свободы. Теперь писатель рисковал своей репутацией, проживая или публикуясь за границей. В послужном списке Бабея были записаны оба этих факта. Ему было предъявлено еще более серьезное обвинение в антисоветских заявлениях в польской прессе, после того как в 1930 году варшавская газета «Литературные новости» («Wiadomości literackie») опубликовала интервью, которое Бабель якобы дал Александру Дану (Александру Вайнтраубу) и в котором он будто бы сказал, что ему надоел большевистский режим и что он смирился с эмиграцией на солнечную Французскую Ривьеру. Коммунистическое правление, согласно «цитате» Бабея, породило только смерть и болезни, а солнце последний раз светило ярко в 1914 году [Dan 1930].

Примечательно, что сообщение о разговоре с Бабелем на Лазурном берегу не было датировано, так что могло возникнуть впечатление, будто Бабель все еще находится за границей. На самом деле Бабель вернулся из Франции в 1928 году, а статья представляла собой грубую переработку его рассказа «Гедали» из «Конармии», хотя для некоторых партийных аппаратчиков она оказалась достаточно убедительной, несмотря на пародийно-истерический стиль, не свойственный настоящему Бабелю⁷⁴. Польский эмигрант, коммунист Бруно Ясенский воспользовался «интервью» для доказательства сомнительной лояльности Бабея как советского писателя [Ясенский 1930]. Ясенский, член ВКП(б) с 1930 года, ставший крупной фигурой в советской литературе, был избран секретарем Международного объединения рабочих писателей и работал главным редактором центрального органа МОРПа – журнала «Интернациональная литература» (но был репрессирован в 1937 году). Бабель немедленно направил в редакцию «Литературной газеты» письмо, в котором указал, что интервью он, разумеется, не давал. Но, поскольку Ясенский поставил вопрос о праве Бабея называть себя советским писателем, от того потребовали публичного объяснения. На заседании секретариата писательской организации ФОСП 13 июля 1930 года Бабель защищался, заявляя о своей безусловной преданности. В соответствии со своей обычной тактикой мистификации, он повторил историю о своем ученичестве у Горького и объяснил молчание характерной для него затянувшейся творческой работой над новой книгой. Далее он заявил, что после выхода «Конармии» и «Одесских рассказов» он действительно исчез из литературы, но это произошло потому, что он уже не мог писать в прежней манере. Он дошел до того, что отказывается от стиля «Конармии»:

После семилетнего перерыва, в течение шести месяцев печатались мои вещи. Потом я перестал писать потому, что все то, что было написано мною

⁷⁴ Интервью было опубликовано вторично в парижской газете «Последние новости» («Dernières nouvelles») 13 июня 1930 года и в том же году появилось в переводе на иврит в израильском журнале «Писания» («Кетувим»). Потом израильский поэт Авраам Шлонский, считая интервью достаточно правдоподобным, перепечатал его без комментариев в своем ивритском сборнике рассказов Бабея: Сипурим. Тель-Авив: Сифриат Поалим, 1963. С. 342–343.

раньше, мне разонравилось. Я не могу больше писать так, как раньше, ни одной строчки. И мне жаль, что С. М. Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против моей «Конармии», ибо «Конармия» мне не нравится (Собрание сочинений, 3: 362).

По словам Бабеля, его молчание было, по сути, самой большой услугой, которую он мог оказать советской литературе, поэтому он отказался от преимуществ, которые давала слава, и уехал в деревню, в колхозы, чтобы узнать советскую жизнь изнутри. Этого требовали идеологи-демагоги, хотя и не совсем в том смысле, который имел в виду Бабель. Чувствуя необходимость отмежеваться от «попутчиков», чей день прошел, и понимая, что в новом политическом климате его уклончивость может считаться преступлением, Бабель изобразил себя человеком, которого больно обидели, и притворился удивленным, что ему нужно заявлять о своей невиновности:

Мне не приходило в голову в течение всего этого времени, что нужны были с моей стороны декларации о моем отношении к Советской власти, как человеку, честно прослужившему десять лет в сов[етском] учреждении, не пришлось бы в голову дать подписку о том, что он из этого учреждения ничего не украдет.

Недавно я был с триумфом отправлен от фининспектора, ибо оказался единственным писателем в СССР, не обложенным подходящим налогом. Все мое состояние – полтора чемодана и долг ГИЗу.

Я еще раз повторяю, я думал, что весь этот разговор я поведу через три месяца, через мою книгу (Собрание сочинений, 3: 363).

Он взялся судиться с польской газетой и в результате выиграл суд⁷⁵.

3 сентября 1930 года варшавская газета «Литературные новости» («Wiadomości literackie») в своем заголовке на всю полосу первой страницы опубликовала сообщение о сенсационном судебном процессе в Варшаве, который возбудил против нее Бабель. Газета резюмировала статью Ясенского в «Литературной газете» и напечатала ответ Александра Дана на письмо Бабеля в «Литературную газету», в котором тот протестовал, что не был на Ривьере и никогда не слышал о Дане. Дан объяснил, что встретил русского, представившегося Бабелем, осенью 1926 года (когда Бабеля, как известно, не было во Франции) и позже «реконструировал» разговор, прочитав немецкий перевод «Конармии». Польская газета заявила, что стала жертвой этой уловки, но при этом утверждала, что «интервью» отражает дух того, что Бабель действительно написал в «Конармии». Кроме того, она отметила репрессивную атмосферу в советской литературе, о которой свидетельствовали самоубийство Маяковского и нападки Ясенского на Бабеля. Бабелю со своей стороны пришлось доказывать свою непричастность к зарубежной антисоветской кампании⁷⁶. Но обещанная им книга, оправдывающая его плодотворное молчание, так и не увидела свет.

Если Бабель надеялся, что его уединенное существование в Молоденово приблизит день, когда он снова увидит свою семью, то это оказалось напрасной мечтой. Бабель умолял мать и сестру: «Не толкайте меня, *mes enfants* [мои дети], под руку, – если бы вы знали, до чего нужны твердость и спокойствие этой руке» (письмо из Молоденово, 14 октября 1931 года. Собрание сочинений, 4: 298). Он понимал, что интенсивная работа над новыми рассказами привела к появлению огромного количества заметок и черновиков, но мало что из этого было пригодно для публикации. В результате попытки отправить деньги за границу жене и получить паспорт для матери превратились в бесконечный бег по кругу.

⁷⁵ Стенограмма заседания секретариата писательской организации ФОСП 13 июля 1930 года. ИМЛИ. Ф. 86. Оп. 1. Д. 5, 1.

⁷⁶ См. его письмо к редактору «Литературной газеты», 17 июля 1930 года (Собрание сочинений, 4: 282).

К концу 1931 года Бабелю все же удалось опубликовать рассказы из книги «История моей голубятни» и одну главу из книги о коллективизации «Великая Криница». Неудачей обернулась публикация еще одного одесского рассказа, «Карл-Янкель», – о матери, судимой за обрезание ребенка, поскольку этот рассказ привлек внимание иностранной прессы и вскоре после публикации в Москве был перепечатан в эмигрантской газете в Париже⁷⁷. Бабель попытался приуменьшить результаты политических импликаций разоблачения советского антисемитизма, заявляя, что текст был напечатан в искаженном и некорректном виде:

Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках, как «Карл-Янкель». Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен. <... > Вообще, то, что печатается, есть ничтожная доля сделанного, а основная работа производится теперь. С похвалами рано, посмотрим, что будет дальше. Единственное, что достигнуто, – это чувство профессионализма и упрямства и жажда работы, которых раньше не было (Письмо к матери и сестре из Москвы, 2 января 1932 года. Собрание сочинений, 4: 300).

В это время Бабель ожидал разрешения на выезд за границу и на выдачу иностранной валюты, поэтому он не мог позволить себе новых волнений, подобных варшавской провокации. К 1932 году Бабель «молчал» уже шесть лет без новой книги, что совпадает с первым периодом его «ухода в народ» в «Автобиографии». В переработанном окончании «Автобиографии», которое он подготовил в том же году, он объяснял свое молчание тем, что бродит по стране и набирается сил для новой работы: «Снова настала для меня пора странствий, молчания и собирания сил. Я стою теперь перед началом новой работы»⁷⁸. И все же Бабель в очередной раз оказался не в ладах с идеологической ортодоксией. Партия брала литературу под контроль так же, как и все остальные сферы жизни. От писателей требовалось подчиниться диктату социалистического реализма, который предполагал беспрекословную верность партийному контролю (партийность), демонстративное признание классового конфликта регулятором человеческих отношений (классовость), отождествление себя с народом (народность). Учреждение Союза писателей СССР привело к появлению мощного органа, способного как наказывать нерадивых членов, так и раздавать привилегии тем, кто был в фаворе у власти. Первый съезд советских писателей в 1934 году оказался историческим прощанием с остатками индивидуальной свободы и разнообразия в искусстве.

В своем предисловии к английскому переводу сборника рассказов Бабеля 1955 года ведущий американский критик Лайонел Триллинг назвал речь Бабеля на Первом съезде советских писателей в 1934 году «странным перформансом»:

...Под ортодоксальностью этой речи скрывается некий тайный замысел. Это чувствуется по язвительно проявляющимся в ней остаткам гуманистического уклада. Как будто юмор, часто причудливый, как будто ирония и заученное самоуничижение – это выстраданные утверждения свободы и самооценности; как будто Бабель обращается к своим коллегам-писателям на мертвом языке... [Trilling 1994: 343].

Триллинг видит политические последствия в бабелевском объявлении себя «мастером молчания». По правилам требовалось восхвалять И. В. Сталина, вождя народа, объединившегося в борьбе за коммунизм, и Бабель отметил эту «единую борьбу народа», но сказал, что борьба эта – борьба с банальной пошлостью, которую он считал «контрреволюционной» [Лупполь и др. 1934: 279]. Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ», но Бабель напомнил слушателям, что их профессия требует «различия в чувствах, вкусах и методах

⁷⁷ Последние новости. 1931. Декабрь. № 39. С. 3–4.

⁷⁸ Рукопись хранится в РГАЛИ. Ф. 1559. Оп. 1. Д. 3. Опубликовано в: (Детство: 7–8).

работы». Сейчас волнующее время – снимаются первые строительные леса со здания социализма, но писатели не справятся со своей задачей, если будут кричать о счастье через мегафоны, как это обычно делают в эти дни в сталинской пропаганде. Если так пойдет и дальше, шутил Бабель, то признания в любви будут звучать через громкоговорители, как объявления на спортивном стадионе.

Бабель вызвал своим юмористическим протестом против культа личности аплодисменты и смех, но он, несомненно, говорил искренне, когда возлагал на самих писателей ответственность за адекватное описание исторических преобразований в Советском Союзе. Прежде всего, писатели несли ответственность перед читателем (то есть не перед партией). Советский читатель требовал литературы, и в его протянутую руку нельзя было положить камень, а только «хлеб искусства». Массовая литература не годится, это должна быть качественная литература, литература идей. Писатель должен поразить читателя неожиданностью искусства. Что касается уважения к читателю, то Бабель заявил, вызвав смех аудитории: «Я заговорил об уважении к читателю. Я, пожалуй, страдаю гипертрофией этого чувства. Я к нему испытываю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю (*смех*)». (Собрание сочинений, 3: 38).

Утверждение о том, что писатель должен знать колхозы и заводы изнутри и вблизи, на что требуется много времени и размышлений, было для Бабеля способом оправдать свое молчание. Возможно, он был излишне оптимистичен или ироничен, полагая, что в Советском Союзе можно сохранить различия между писателями в условиях массового конформизма. Горький поддерживал идею Союза писателей именно из-за его цели организовать писателей для коллективной работы по строительству новой социалистической культуры [Лупполь и др. 1934: 225–226]. Однако именно против коллективной работы выступал на съезде И. Г. Эренбург, а Ю. К. Олеша в своей речи настаивал на необходимости быть самим собой, просил дать ему свободу посвятить себя мечтам новой советской молодежи, поскольку описывать заводы он не может. Бабель знал, что в Советском Союзе он не может писать свободно: «Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне – великом мастере этого жанра (*смех*)» (Собрание сочинений, 3: 39).

Но он понимал, что на капиталистическом Западе ни одному издателю не было бы дела до того, может ли он сказать что-то другое и важное:

Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох с голоду, и никакому издателю не было бы дела до того, как говорит Эренбург, кролик я или слониха. Произвел бы меня этот издатель, скажем, в зайцы и в этом качестве заставил бы меня прыгать, а не стал бы – меня заставили бы продавать галантерею. А вот здесь, в нашей стране, интересуются – а он кролик или слониха, что у него там в утробе, причем и не очень эту утробу толкают, – маленько, но не очень (*смех, аплодисменты*), и не очень допытываются, какой будет младенец: шатен или брюнет, и что он будет говорить и прочее. Вот, товарищи, я этому не радуюсь, но это, пожалуй, живое доказательство того, как в нашей стране уважаются методы работы, хотя бы необычные и медлительные (Собрание сочинений, 3: 39).

Однако среди смеха Бабель сделал важное заключение с двойным дном:

Вслед за Горьким мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что все нам дано партией и правительством и отнято только одно право – плохо писать.

Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право, и отнимают у нас немало (*смех*). Это была привилегия, которой мы широко пользовались.

Так вот, товарищи, давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам бог. Впрочем, бога нет, сами себе поможем (*аплодисменты*) (Собрание сочинений, 3: 39–40).

Право писать плохо было привилегией, которой писатели злоупотребляли, и, отказавшись от нее, они должны были взять на себя ответственность за свое творчество и свободу⁷⁹.

О значении Первого съезда советских писателей можно судить по тому, с какой яростью смущенный советский литературный истеблишмент воспринял появившуюся за несколько месяцев до открытия съезда книгу Макса Истмена «Художники в униформе: Исследование литературы и бюрократии». В ней была представлена картина, сильно отличающаяся от той, которую хотела дать партия. Подробно описывая дела Замятина и Пильняка, Истмен разоблачал систематические репрессии против свободы творчества. В главе «Молчание Исаака Бабея» он восхваляет Бабея за то, что тот не продал свое перо аппаратчикам, и восхищается его молчанием – изменническим поступком, за который ему грозило суровое наказание. Истмен догадывается, что Бабель выжил не благодаря своей уклончивости, а благодаря важным связям и особым привилегиям, предоставленным лично Сталиным Горькому – главному защитнику Бабея. Публика, смеявшаяся над упоминанием Бабея о его молчании, несомненно, слышала о скандальной книге Истмена. Напрасно Эренбург отстаивал право Бабея, Олеси и Пастернака писать как они хотели и что хотели. Для Бабея, как и для М. А. Булгакова и Н. Р. Эрдмана, единственной возможностью было молчание.

⁷⁹ Триллин, кажется, понял это выражение иначе – что право писать плохо само по себе было правом, от которого было нелегко отказаться [Trilling 1994: 343].

Молчание – также сопротивление

В 1936 году критик И. Г. Лежнев отметил десятилетие «молчания» Бабеля с момента выхода первого издания «Конармии» [Лежнев 1936]. Стало ясно, что молчание само по себе может быть расценено как предательство, и писателей призвали продемонстрировать свою лояльность Сталину [Перцов 1936]. Однако Бабель, как и другие «писатели молчания», не сложил пера. Молчание Бабеля, по сути, было плодотворным, но, к сожалению, всякий раз, когда казалось, что он близок к завершению своей работы, усиливающиеся репрессии делали ее публикацию невозможной.

Правда в том, что его книга о коллективизации «Великая Криница» была бы в годы сталинских репрессий еще менее приемлема, чем откровенные описания насилия и жестокости в «Конармии», которые все еще привлекали огонь марксистской критики. Вряд ли ее удовлетворило бы возвращение к старым темам, таким как «Одесские рассказы» и «История моей голубятни». Бабель интересовали крайности, гротеск, ненормальность, а партия требовала конформизма и посредственности. С. Г. Гехт вспоминал об утраченном рассказе, который Бабель читал Эренбургу в 1938 году, «У троицы»: «...это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая» [Эренбург 1990, 2: 486]⁸⁰

⁸⁰ См. также [Гехт 1989: 59–60].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.